



НОВАЯ ПОЛЬША 5/2010

Содержание

1. ДВЕ БИТВЫ
2. ДВЕ БИТВЫ
3. ДВЕ БИТВЫ
4. ДВЕ БИТВЫ
5. К ЗАПАДУ ОТ НИСЫ
6. БЫТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
7. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
8. Владыка МИРОН (Ходаковский)
9. АНДЖЕЙ КРЕМЕР
10. ЗЛА В ЛЮДЯХ, МОЖЕТ, И НЕТ...
11. ЗЛА В ЛЮДЯХ, МОЖЕТ, И НЕТ...
12. О ШОПЕНЕ
13. ОБ АННЕ СВирЩИНСКОЙ
14. ОБ АННЕ СВирЩИНСКОЙ
15. ВЛЮБЛЕННЫЕ ИЗ ЛЕГНИЦЫ
16. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
17. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
18. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ

ДВЕ БИТВЫ

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[1] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[2]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав

Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[3]. Можно встретить и более радикальные оценки.

Мы сегодня знаем больше, чем десять-двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943-м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

ХРОНИКА 1-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1-й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1-й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1-го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[4], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

Командир 1-го полка^[5] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1 го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в

распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где взяли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[6] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[7] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1-й пехотной дивизии

с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[8]:

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и

мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1-го пехотного полка, который сначала действовал отлично. Но командование 1-го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншеи.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[9]), так и пилсудчики (Заблудовский^[10]), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

МОНТЕ-КАССИНО

К 70-летию битвы

Зигмунт Богуш-Шишко

Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954)

Человеческая драма, которая называется битвой, столь сложна и многогранна, что даже самый способный и самый проницательный наблюдатель не может охватить ее полностью и описать исчерпывающе. Самое трудное — это уловить и понять сущность кризиса, который рождается в момент начала боя, нарастает по мере его хода и затем часто предопределяет его исход.

Истоки кризиса неизменно коренятся в глубинах человеческого духа, а формы кризиса столь же различны, как различен духовный облик участников драмы. По-своему

переживает и видит битву военный корреспондент, ответственный лишь за себя самого, по-своему — рядовой, связанный общей задачей с товарищами, и по-своему, совсем иначе, — командиры всех уровней снизу доверху.

Никогда нельзя предвидеть, что станет причиной кризиса и какую форму он обретет. Картина битвы за Монте-Кассино, начертанная пером Мельхиора Ваньковича, поражает нас ужасом кризиса, вызванного невероятно тяжкими потерями и крушением первого натиска на немецкие позиции. Картина, однако, неполная и односторонняя. Этому не приходится удивляться, потому что во время битвы видятся только внутренние проявления кризиса, а после битвы участники неохотно говорят о сущностном его содержании.

Кризис в битве за Монте-Кассино был чрезвычайно глубоким и сильным, потому что и сама битва стала недюжинным явлением в истории войн. Поле битвы Монте-Кассино уже было знаменито во всем мире неудачами прежних атак союзников и бомбардировками монастыря. Этот факт должен был сказаться на психике солдат, которым в ближайшее время предстояло включиться в эту битву.

Во время всех предшествующих сражений под стенами монастыря встречались только «противники». Теперь же должны были столкнуться «враги». Взаимная ненависть, передававшаяся почти тысячу лет из поколения в поколения, чувство обиды, глубоко вросшее в польскую душу, невиданные преступления, совершенные оккупантами в стране, — всё это предопределяло, что борьба будет непримиримой, до последней капли крови.

Противостояли друг другу два разных мировоззрения и две разных воли.

В этих условиях кризис боя быстро нарастал по обе стороны фронта и становился страшным. Прежде всего из-за людских потерь. Массированный артиллерийский огонь обрушился на немцев в момент подготовки к передислокации частей первой линии и принес большие потери как на монастырском участке, так и в долине реки Лири. Немцы в это время уже не располагали такими многочисленными материальными и людскими резервами, как ранее, поэтому латание каждой дыры могло проводиться только перемещением сил с других участков фронта.

Наши части в первую ночь боя были обескровлены так сильно, что кризис, очень острый и глубокий, был неминуем.

Совершенно естественно, что истинные данные о потерях не отвечали картине, воссоздаваемой на основе личных впечатлений и донесений, полученных в первые дни сражения. Каждая, даже самая лучшая воинская часть состоит из людей разной физической и психической стойкости. Следует принять за очевидное, что во время столь тяжкого боя часть солдат воспользовалась возможностью переждать в каком-то безопасном убежище в скалах либо отойти в тыл под предлогом эвакуации раненых или просто по ошибке, заблудившись в такой запутанной, дикой и пересеченной местности, плотно обстреливаемой и задымленной. Через некоторое время люди находились, но в момент подсчета в ходе боя или сразу после него их отсутствие засчитывалось как потери. Создавалось впечатление, что то или иное подразделение вообще перестало существовать.

Название «рота» или «батальон» приобретает для нас истинный смысл только тогда, когда известно, сколько на самом деле людей и вооружения это подразделение имеет. В период битвы за Монте-Кассино боевой состав наших пехотных рот не превышал 60–80 человек. Поэтому любые потери, даже менее чувствительные, чем действительно имевшие место, командиры переживали очень остро.

Кризис в относительно малой степени коснулся рядовых и не мог проявиться на низших уровнях командования, так как значительная часть унтер-офицеров и младших офицеров, командовавших взводами, полуротами и ротами, была убита или ранена. Те, кто уцелел, еще находились в пылу борьбы и ожидали ее продолжения. Кризис пролегал лишь между двумя принципиальными возможностями — жизни и смерти.

А далее?

А далее в игру вступало чувство ответственности за жизнь порученных тебе людей, за выполнение поставленных задач, за способ ведения боя. Каждый из командиров неоднократно подвергал сомнению свои действия, вновь и вновь обдумывая, не совершил ли он ошибки, не пренебрег ли чем-то, были ли его приказы достаточно точными. Батальон, бригада и дивизия были уровнем, на котором кризис проявился сильнее всего.

Разочарованные голоса, обескураживающие донесения о том, что некому дальше вести бой, иногда даже критика приказов, поступающих от командиров, которые были известны как люди смелые и стойкие, волна сомнений — всё это захлестнуло корпус. Но здесь, однако, не вызвало того же резонанса. Никто даже из близкого окружения не знал, что думает и что в

глубине души переживает их командир — генерал Андерс. Ни в лице его, ни в голосе ничто не выказывало сомнения. В эти тяжелые дни он давал подчиненным впечатляющий пример спокойствия и присутствия духа. Сердечно, по-дружески, но твердо он поддерживал в них энергию и веру в победу.

Как на самом деле выглядел кризис и как он был преодолен, я мог видеть по горячим следам на завтра после захлебнувшейся атаки. Из штаба самым тяжким казалось положение на участке 5 й Восточной дивизии.

— Поезжай к ним, посмотри, как там дела, поговори с ними, — дал мне приказ генерал Андерс. Вместе с генералом Суликом на двух «Виллисах» мы двинулись в направлении фронта. Переправа через реку Рапидо, куда мы направлялись, была как раз под огнем тяжелой артиллерии врага. Рядом находился пункт водоснабжения передовых частей. Когда мы приблизились к реке, артиллерийский огонь стих. В клубах пыли и дыма в окопах и траншеях стали видны люди, которые спокойно взялись за только что прерванную работу — стали наполнять водой жестяные фляги. Они улыбались нам и подшучивали друг над другом, обсуждая недавний налет и недопитый цикорий.

Дальше мы поднимались по скалистой расселине, в которой отдыхал 15-й батальон, один из тех, что понесли наибольшие потери. Уже у подножья из блиндажа вышел удивительно молодой подпоручик с лицом, черным от дыма и грязи, с красными от недосыпания глазами, отдал честь и четким уверенным голосом заявил:

— Господин генерал, прошу немедленно надеть каску. Комбат запретил находиться без каски в расположении батальона! — Мы оба надели каски и начали подъем. Хотя и без вещмешков, мы обливались потом, солнце сильно пекло. Несколько раз мы останавливались, чтобы поговорить с солдатами и отдохнуть. Слышали вопросы о ходе битвы и слова, полные веры, что победа будет за нами. Солдатские руки протягивали нам фляжки с водой, а ведь люди даже не брились, чтобы не растратить ни капли бесценной влаги.

На середине расселины нас нагнали командир батальона подполковник Каминский и его заместитель майор Жихонь, возвращавшиеся с совещания в штабе бригады. Оба улыбались, были спокойны. Только усталые и покрасневшие глаза смотрели серьезно и сурово. У самой линии огня, чуть в стороне от солдатских окопов, был блиндаж командира батальона. Здесь нас никто не мог видеть. Лицо подполковника Каминского

неожиданно изменилось, погрузнело, осунулось. На мой вопрос о положении батальона он тихо ответил, что батальона больше нет. Те несколько десятков человек, которых мы видели по дороге, — это все, кто уцелел.

В голосе этого человека звучало отчаяние. Понимание, что атака не удалась, что ее нужно повторить, а в батальоне не наберется людей даже на роту, угнетало его и лишало обычного пыла и решимости. Он еще не знал, что новое наступление начнется через несколько дней, а за это время батальон пополнится, потому что вернутся рассеянные и заблудившиеся люди и легкораненые из госпиталя.

Он быстро обрел равновесие и энергично взялся приводить в порядок остатки батальона и готовиться к новому бою. Но уже знал, насколько высокую цену нужно заплатить за победу. Знал, что сам поведет своих солдат. Может быть, предчувствовал, что отдаст здесь свою жизнь «за Польшу», как скажет умирая. С теми же словами погиб и его заместитель, майор Жихонь.

Началась вторая атака. По мере ее развития стал нарастать новый кризис — на этот раз от физической и психической усталости солдат.

Пришли минуты последних схваток, так прекрасно описанных Ваньковичем, когда надо было сделать всего лишь еще одно усилие, чтобы склонить весы победы в нашу сторону. Но на это у солдат уже не было сил.

Это были те минуты боя, когда у командира остается только один резерв — он сам. Именно в таком положении оказался командир 5-й бригады полковник Курек. Он, не колеблясь ни минуты, пошел вперед, чтобы преодолеть этот кризис, пошел, потому что солдаты должны знать, что бой продолжается и командир впереди.

Пошел и погиб.

За победу. За Польшу.

Юзеф Чапский

Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского

Автор ни на минуту не забывает об ответственности за смысл и качество каждого слова, и его заботит не только литература, но и человеческое ее содержание. В столь мрачный для поляков период эта книга радуется и поддерживает, свидетельствует о

неразрывной связи живых и павших в борьбе за самое главное, о неуничтожимой силе сути польской традиции.

Норвид пишет в новелле «Горсть песка»: «Знай, что традицией разнится величие человеческое от зверей полевых, а тот, кто от совести истории оторвется — дичает на отдаленном острове... так-то вот бывает, что заново апостолов посылать им надо, чтобы вернулись в былое течение».

Мы не одичаем на отдаленном острове, потому что среди сегодняшней молодежи — такие люди, как автор этой книги, стремящиеся развить те черты человеческого характера, которые проявляются в отношении к жизни, к литературе, к культуре.

Когда Грудзинский в ночь с 16 на 17 мая был послан радистом к выдвинутому артиллерийскому наблюдателю на высоту 593, командир его, майор Строевский, останки которого меньше чем через сутки тот же Грудзинский с товарищами будет выносить с этой «жертвенной горы», сказал: «Не знаю, парень, вернешься ли, но знай, сколько от тебя зависит». Слова светлой памяти майора Строевского автор этой книги запомнил как завет на всю оставшуюся жизнь и на каждое дело, которым он занимается.

«Помни, сколько от тебя зависит». Грудзинский помнит, что, участвуя в борьбе нынешнего поколения за то, чтобы не одичать на отдаленном острове, он должен, как на склонах Монте-Кассино, на каждой своей странице держать неразрывную связь с живыми и мертвыми, защищая «незримый град, который характеры людские стерегут».

Норман Дэвис

Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009)

Битва за Монте-Кассино велась не только между немцами и поляками. Это была сложная, долгосрочная операция, в которой многочисленные формирования Вермахта и Люфтваффе столкнулись с двумя союзническими армиями — американской 5-й армией под командованием генерала Марка Кларка и 8-й британской генерала сэра Оливера Лиса. Второй корпус генерала Андерса, сражавшейся в рядах 8-й армии под британским флагом, был лишь одним из многих воинских соединений, что, впрочем, ничуть не умаляет его заслуг.

Следует также отметить, что итальянская кампания 1943–1945 гг., в ходе которой произошла битва под Монте-Кассино и была

прорвана «линия Густава», не проходила в соответствии с ожиданиями союзников. После падения фашистского режима в Италии главной стратегической целью командующего немецким фронтом генерала Кессельринга было задержать наступление союзнических сил и не дать им перейти альпийские границы Третьего Рейха. Стратегия Кессельринга оказалась верной — планы союзников были сорваны. Даже в самом конце войны, в мае 1945 г., 5-я и 8-я армия всё ещё находились далеко от Альп. Поляки дошли до Болоньи и Римини, после чего были остановлены. Вопреки наполеоновским планам Черчилля, ни один солдат союзнических армий даже не приблизился к Люблянскому перевалу. Разумеется, нельзя говорить, что жертва, принесенная при Монте-Кассино, была напрасной, как можно вычитать в некоторых прогорклых комментариях, нельзя и считать, что итальянская кампания не имела влияния на окончательную победу союзнических сил. Напротив: взятие Монте-Кассино польскими войсками спасло западные силы от конфуза в мае 1944-го, когда их успехи на других фронтах оставляли желать много лучшего, в то время как сталинская Красная армия крушила немцев на восточном фронте. Сталинградская битва была, несомненно, более масштабной, однако Монте-Кассино принесло сходный результат, показав, что фашистская военная машина не непобедима, и это позволяло не утратить надежду на успех. Освобождение Рима, Вечного города, путь к которому лежал через Монте-Кассино, имеет ранг события большого политического, психологического и символического значения. Более того, после выхода Италии из Оси и нейтрализации многочисленной итальянской армии бои на полуострове значительно ослабили немцев и сыграли немалую роль в разгроме гитлеровского Рейха. Конечно, это не было безусловным триумфом, который американцы и британцы склонны считать своим, однако нельзя говорить и о позорной неудаче.

Авторы:

1. Зигмунт Богуш-Шишко (1893-1982), в период I Мировой войны служил в русской армии, затем в Легионах Пилсудского. С 1918 — профессиональный военный. С 1940 — командующий Отдельной бригадой подгальских стрелков во Франции. С 1942 — начальник штаба Польской Армии под командованием Владислава Андерса.
2. Юзеф Чапский (1896-1993), художник, эссеист, автор воспоминаний, прежде всего книги «На нечеловеческой земле» (1949).

3. Норман Дэвис (1939 г.р.), британский историк, автор, в частности, истории Польши «God`s Playground».

Источники:

1. Зигмунт Богуш-Шишко, Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954).
2. Юзеф Чапский, Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского
3. Норман Дэвис, Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009).

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[11] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[12]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских

солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

Бронислав Ляхович (1907–1943). В 1925–1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[13]. Можно встретить и более радикальные оценки.

S. Jaczyński. Bitwa pod Lenino w świetle najnowszych badań // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. Red. Stefan Zwoliński. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.

Мы сегодня знаем больше, чем десять–двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943 м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

Хроника 1-й Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1 й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1 й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1 го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[14], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

* Болеслав Кеневич (1907–1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т. Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.

Командир 1-го полка^[15] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1-го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где вязли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[16] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[17] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Две пехотные дивизии Красной армии (42 я и 290 я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1 й пехотной дивизии
с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[18]:

Влодзимеж Сокорский (1908–1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1 го пехотного полка, который сначала действовал

отлично. Но командование 1 го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншеи.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[19]), так и пилсудчики (Заблудовский^[20]

), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

1. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1-й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
2. Бронислав Ляхович (1907-1943). В 1925-1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.
3. S. Jaczynski. Bitwa pod Lenino w swietle najnowszych badan // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstajacego systemu wladzy. Red. Stefan Zwolinski. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.
4. Болеслав Кеневич (1907-1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.
5. Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.
6. Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.
7. Две пехотные дивизии Красной армии (42-я и 290-я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

8. Влодзимеж Сокорский (1908-1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.
9. Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.
10. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.
11. Зигмунт Берлинг (1896)1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1 й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.

ДВЕ БИТВЫ

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[1] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[2]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав

Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[3]. Можно встретить и более радикальные оценки.

Мы сегодня знаем больше, чем десять-двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943-м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

ХРОНИКА 1-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1-й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1-й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1-го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[4], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

Командир 1-го полка^[5] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1 го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в

распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где взяли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[6] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[7] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1-й пехотной дивизии

с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[8]:

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и

мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1-го пехотного полка, который сначала действовал отлично. Но командование 1-го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншей.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[9]), так и пилсудчики (Заблудовский^[10]), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

МОНТЕ-КАССИНО

К 70-летию битвы

Зигмунт Богуш-Шишко

Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954)

Человеческая драма, которая называется битвой, столь сложна и многогранна, что даже самый способный и самый проницательный наблюдатель не может охватить ее полностью и описать исчерпывающе. Самое трудное — это уловить и понять сущность кризиса, который рождается в момент начала боя, нарастает по мере его хода и затем часто предопределяет его исход.

Истоки кризиса неизменно коренятся в глубинах человеческого духа, а формы кризиса столь же различны, как различен духовный облик участников драмы. По-своему

переживает и видит битву военный корреспондент, ответственный лишь за себя самого, по-своему — рядовой, связанный общей задачей с товарищами, и по-своему, совсем иначе, — командиры всех уровней снизу доверху.

Никогда нельзя предвидеть, что станет причиной кризиса и какую форму он обретет. Картина битвы за Монте-Кассино, начертанная пером Мельхиора Ваньковича, поражает нас ужасом кризиса, вызванного невероятно тяжкими потерями и крушением первого натиска на немецкие позиции. Картина, однако, неполная и односторонняя. Этому не приходится удивляться, потому что во время битвы видятся только внутренние проявления кризиса, а после битвы участники неохотно говорят о сущностном его содержании.

Кризис в битве за Монте-Кассино был чрезвычайно глубоким и сильным, потому что и сама битва стала недюжинным явлением в истории войн. Поле битвы Монте-Кассино уже было знаменито во всем мире неудачами прежних атак союзников и бомбардировками монастыря. Этот факт должен был сказаться на психике солдат, которым в ближайшее время предстояло включиться в эту битву.

Во время всех предшествующих сражений под стенами монастыря встречались только «противники». Теперь же должны были столкнуться «враги». Взаимная ненависть, передававшаяся почти тысячу лет из поколения в поколения, чувство обиды, глубоко вросшее в польскую душу, невиданные преступления, совершенные оккупантами в стране, — всё это предопределяло, что борьба будет непримиримой, до последней капли крови.

Противостояли друг другу два разных мировоззрения и две разных воли.

В этих условиях кризис боя быстро нарастал по обе стороны фронта и становился страшным. Прежде всего из-за людских потерь. Массированный артиллерийский огонь обрушился на немцев в момент подготовки к передислокации частей первой линии и принес большие потери как на монастырском участке, так и в долине реки Лири. Немцы в это время уже не располагали такими многочисленными материальными и людскими резервами, как ранее, поэтому латание каждой дыры могло проводиться только перемещением сил с других участков фронта.

Наши части в первую ночь боя были обескровлены так сильно, что кризис, очень острый и глубокий, был неминуем.

Совершенно естественно, что истинные данные о потерях не отвечали картине, воссоздаваемой на основе личных впечатлений и донесений, полученных в первые дни сражения. Каждая, даже самая лучшая воинская часть состоит из людей разной физической и психической стойкости. Следует принять за очевидное, что во время столь тяжкого боя часть солдат воспользовалась возможностью переждать в каком-то безопасном убежище в скалах либо отойти в тыл под предлогом эвакуации раненых или просто по ошибке, заблудившись в такой запутанной, дикой и пересеченной местности, плотно обстреливаемой и задымленной. Через некоторое время люди находились, но в момент подсчета в ходе боя или сразу после него их отсутствие засчитывалось как потери. Создавалось впечатление, что то или иное подразделение вообще перестало существовать.

Название «рота» или «батальон» приобретает для нас истинный смысл только тогда, когда известно, сколько на самом деле людей и вооружения это подразделение имеет. В период битвы за Монте-Кассино боевой состав наших пехотных рот не превышал 60–80 человек. Поэтому любые потери, даже менее чувствительные, чем действительно имевшие место, командиры переживали очень остро.

Кризис в относительно малой степени коснулся рядовых и не мог проявиться на низших уровнях командования, так как значительная часть унтер-офицеров и младших офицеров, командовавших взводами, полуротами и ротами, была убита или ранена. Те, кто уцелел, еще находились в пылу борьбы и ожидали ее продолжения. Кризис пролегал лишь между двумя принципиальными возможностями — жизни и смерти.

А далее?

А далее в игру вступало чувство ответственности за жизнь порученных тебе людей, за выполнение поставленных задач, за способ ведения боя. Каждый из командиров неоднократно подвергал сомнению свои действия, вновь и вновь обдумывая, не совершил ли он ошибки, не пренебрег ли чем-то, были ли его приказы достаточно точными. Батальон, бригада и дивизия были уровнем, на котором кризис проявился сильнее всего.

Разочарованные голоса, обескураживающие донесения о том, что некому дальше вести бой, иногда даже критика приказов, поступающих от командиров, которые были известны как люди смелые и стойкие, волна сомнений — всё это захлестнуло корпус. Но здесь, однако, не вызвало того же резонанса. Никто даже из близкого окружения не знал, что думает и что в

глубине души переживает их командир — генерал Андерс. Ни в лице его, ни в голосе ничто не выказывало сомнения. В эти тяжелые дни он давал подчиненным впечатляющий пример спокойствия и присутствия духа. Сердечно, по-дружески, но твердо он поддерживал в них энергию и веру в победу.

Как на самом деле выглядел кризис и как он был преодолен, я мог видеть по горячим следам на завтра после захлебнувшейся атаки. Из штаба самым тяжким казалось положение на участке 5 й Восточной дивизии.

— Поезжай к ним, посмотри, как там дела, поговори с ними, — дал мне приказ генерал Андерс. Вместе с генералом Суликом на двух «Виллисах» мы двинулись в направлении фронта. Переправа через реку Рапидо, куда мы направлялись, была как раз под огнем тяжелой артиллерии врага. Рядом находился пункт водоснабжения передовых частей. Когда мы приблизились к реке, артиллерийский огонь стих. В клубах пыли и дыма в окопах и траншеях стали видны люди, которые спокойно взялись за только что прерванную работу — стали наполнять водой жестяные фляги. Они улыбались нам и подшучивали друг над другом, обсуждая недавний налет и недопитый цикорий.

Дальше мы поднимались по скалистой расселине, в которой отдыхал 15-й батальон, один из тех, что понесли наибольшие потери. Уже у подножья из блиндажа вышел удивительно молодой подпоручик с лицом, черным от дыма и грязи, с красными от недосыпания глазами, отдал честь и четким уверенным голосом заявил:

— Господин генерал, прошу немедленно надеть каску. Комбат запретил находиться без каски в расположении батальона! — Мы оба надели каски и начали подъем. Хотя и без вещмешков, мы обливались потом, солнце сильно пекло. Несколько раз мы останавливались, чтобы поговорить с солдатами и отдохнуть. Слышали вопросы о ходе битвы и слова, полные веры, что победа будет за нами. Солдатские руки протягивали нам фляжки с водой, а ведь люди даже не брились, чтобы не растратить ни капли бесценной влаги.

На середине расселины нас нагнали командир батальона подполковник Каминский и его заместитель майор Жихонь, возвращавшиеся с совещания в штабе бригады. Оба улыбались, были спокойны. Только усталые и покрасневшие глаза смотрели серьезно и сурово. У самой линии огня, чуть в стороне от солдатских окопов, был блиндаж командира батальона. Здесь нас никто не мог видеть. Лицо подполковника Каминского

неожиданно изменилось, погрузнело, осунулось. На мой вопрос о положении батальона он тихо ответил, что батальона больше нет. Те несколько десятков человек, которых мы видели по дороге, — это все, кто уцелел.

В голосе этого человека звучало отчаяние. Понимание, что атака не удалась, что ее нужно повторить, а в батальоне не наберется людей даже на роту, угнетало его и лишало обычного пыла и решимости. Он еще не знал, что новое наступление начнется через несколько дней, а за это время батальон пополнится, потому что вернутся рассеянные и заблудившиеся люди и легкораненные из госпиталя.

Он быстро обрел равновесие и энергично взялся приводить в порядок остатки батальона и готовиться к новому бою. Но уже знал, насколько высокую цену нужно заплатить за победу. Знал, что сам поведет своих солдат. Может быть, предчувствовал, что отдаст здесь свою жизнь «за Польшу», как скажет умирая. С теми же словами погиб и его заместитель, майор Жихонь.

Началась вторая атака. По мере ее развития стал нарастать новый кризис — на этот раз от физической и психической усталости солдат.

Пришли минуты последних схваток, так прекрасно описанных Ваньковичем, когда надо было сделать всего лишь еще одно усилие, чтобы склонить весы победы в нашу сторону. Но на это у солдат уже не было сил.

Это были те минуты боя, когда у командира остается только один резерв — он сам. Именно в таком положении оказался командир 5-й бригады полковник Курек. Он, не колеблясь ни минуты, пошел вперед, чтобы преодолеть этот кризис, пошел, потому что солдаты должны знать, что бой продолжается и командир впереди.

Пошел и погиб.

За победу. За Польшу.

Юзеф Чапский

Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского

Автор ни на минуту не забывает об ответственности за смысл и качество каждого слова, и его заботит не только литература, но и человеческое ее содержание. В столь мрачный для поляков период эта книга радуется и поддерживает, свидетельствует о

неразрывной связи живых и павших в борьбе за самое главное, о неуничтожимой силе сути польской традиции.

Норвид пишет в новелле «Горсть песка»: «Знай, что традицией разнится величие человеческое от зверей полевых, а тот, кто от совести истории оторвется — дичает на отдаленном острове... так-то вот бывает, что заново апостолов посылать им надо, чтобы вернулись в былое течение».

Мы не одичаем на отдаленном острове, потому что среди сегодняшней молодежи — такие люди, как автор этой книги, стремящиеся развить те черты человеческого характера, которые проявляются в отношении к жизни, к литературе, к культуре.

Когда Грудзинский в ночь с 16 на 17 мая был послан радистом к выдвинутому артиллерийскому наблюдателю на высоту 593, командир его, майор Строевский, останки которого меньше чем через сутки тот же Грудзинский с товарищами будет выносить с этой «жертвенной горы», сказал: «Не знаю, парень, вернешься ли, но знай, сколько от тебя зависит». Слова светлой памяти майора Строевского автор этой книги запомнил как завет на всю оставшуюся жизнь и на каждое дело, которым он занимается.

«Помни, сколько от тебя зависит». Грудзинский помнит, что, участвуя в борьбе нынешнего поколения за то, чтобы не одичать на отдаленном острове, он должен, как на склонах Монте-Кассино, на каждой своей странице держать неразрывную связь с живыми и мертвыми, защищая «незримый град, который характеры людские стерегут».

Норман Дэвис

Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009)

Битва за Монте-Кассино велась не только между немцами и поляками. Это была сложная, долгосрочная операция, в которой многочисленные формирования Вермахта и Люфтваффе столкнулись с двумя союзническими армиями — американской 5-й армией под командованием генерала Марка Кларка и 8-й британской генерала сэра Оливера Лиса. Второй корпус генерала Андерса, сражавшейся в рядах 8-й армии под британским флагом, был лишь одним из многих воинских соединений, что, впрочем, ничуть не умаляет его заслуг.

Следует также отметить, что итальянская кампания 1943–1945 гг., в ходе которой произошла битва под Монте-Кассино и была

прорвана «линия Густава», не проходила в соответствии с ожиданиями союзников. После падения фашистского режима в Италии главной стратегической целью командующего немецким фронтом генерала Кессельринга было задержать наступление союзнических сил и не дать им перейти альпийские границы Третьего Рейха. Стратегия Кессельринга оказалась верной — планы союзников были сорваны. Даже в самом конце войны, в мае 1945 г., 5-я и 8-я армия всё ещё находились далеко от Альп. Поляки дошли до Болоньи и Римини, после чего были остановлены. Вопреки наполеоновским планам Черчилля, ни один солдат союзнических армий даже не приблизился к Люблянскому перевалу. Разумеется, нельзя говорить, что жертва, принесенная при Монте-Кассино, была напрасной, как можно вычитать в некоторых прогорклых комментариях, нельзя и считать, что итальянская кампания не имела влияния на окончательную победу союзнических сил. Напротив: взятие Монте-Кассино польскими войсками спасло западные силы от конфуза в мае 1944-го, когда их успехи на других фронтах оставляли желать много лучшего, в то время как сталинская Красная армия крушила немцев на восточном фронте. Сталинградская битва была, несомненно, более масштабной, однако Монте-Кассино принесло сходный результат, показав, что фашистская военная машина не непобедима, и это позволяло не утратить надежду на успех. Освобождение Рима, Вечного города, путь к которому лежал через Монте-Кассино, имеет ранг события большого политического, психологического и символического значения. Более того, после выхода Италии из Оси и нейтрализации многочисленной итальянской армии бои на полуострове значительно ослабили немцев и сыграли немалую роль в разгроме гитлеровского Рейха. Конечно, это не было безусловным триумфом, который американцы и британцы склонны считать своим, однако нельзя говорить и о позорной неудаче.

Авторы:

1. Зигмунт Богуш-Шишко (1893-1982), в период I Мировой войны служил в русской армии, затем в Легионах Пилсудского. С 1918 — профессиональный военный. С 1940 — командующий Отдельной бригадой подгальских стрелков во Франции. С 1942 — начальник штаба Польской Армии под командованием Владислава Андерса.
2. Юзеф Чапский (1896-1993), художник, эссеист, автор воспоминаний, прежде всего книги «На нечеловеческой земле» (1949).

3. Норман Дэвис (1939 г.р.), британский историк, автор, в частности, истории Польши «God`s Playground».

Источники:

1. Зигмунт Богуш-Шишко, Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954).
2. Юзеф Чапский, Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского
3. Норман Дэвис, Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009).

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[11] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[12]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских

солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

Бронислав Ляхович (1907–1943). В 1925–1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[13]. Можно встретить и более радикальные оценки.

S. Jaczyński. Bitwa pod Lenino w świetle najnowszych badań // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. Red. Stefan Zwoliński. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.

Мы сегодня знаем больше, чем десять–двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943 м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

Хроника 1-й Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1 й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1 й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1 го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[14], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

* Болеслав Кеневич (1907–1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т. Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.

Командир 1-го полка^[15] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1-го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где вязли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[16] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[17] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Две пехотные дивизии Красной армии (42 я и 290 я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1 й пехотной дивизии с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[18]:

Влодзимеж Сокорский (1908–1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1 го пехотного полка, который сначала действовал

отлично. Но командование 1 го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншеи.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[19]), так и пилсудчики (Заблудовский^[20]

), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

1. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1-й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
2. Бронислав Ляхович (1907-1943). В 1925-1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.
3. S. Jaczynski. Bitwa pod Lenino w swietle najnowszych badan // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstajacego systemu wladzy. Red. Stefan Zwolinski. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.
4. Болеслав Кеневич (1907-1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.
5. Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.
6. Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.
7. Две пехотные дивизии Красной армии (42-я и 290-я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

8. Влодзимеж Сокорский (1908-1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.
9. Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.
10. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.
11. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1 й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.

ДВЕ БИТВЫ

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[1] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[2]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав

Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[3]. Можно встретить и более радикальные оценки.

Мы сегодня знаем больше, чем десять-двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943-м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

ХРОНИКА 1-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1-й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1-й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1-го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[4], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

Командир 1-го полка^[5] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1 го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в

распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где взяли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[6] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[7] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1-й пехотной дивизии

с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[8]:

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и

мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1-го пехотного полка, который сначала действовал отлично. Но командование 1-го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншей.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[9]), так и пилсудчики (Заблудовский^[10]), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

МОНТЕ-КАССИНО

К 70-летию битвы

Зигмунт Богуш-Шишко

Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954)

Человеческая драма, которая называется битвой, столь сложна и многогранна, что даже самый способный и самый проницательный наблюдатель не может охватить ее полностью и описать исчерпывающе. Самое трудное — это уловить и понять сущность кризиса, который рождается в момент начала боя, нарастает по мере его хода и затем часто предопределяет его исход.

Истоки кризиса неизменно коренятся в глубинах человеческого духа, а формы кризиса столь же различны, как различен духовный облик участников драмы. По-своему

переживает и видит битву военный корреспондент, ответственный лишь за себя самого, по-своему — рядовой, связанный общей задачей с товарищами, и по-своему, совсем иначе, — командиры всех уровней снизу доверху.

Никогда нельзя предвидеть, что станет причиной кризиса и какую форму он обретет. Картина битвы за Монте-Кассино, начертанная пером Мельхиора Ваньковича, поражает нас ужасом кризиса, вызванного невероятно тяжкими потерями и крушением первого натиска на немецкие позиции. Картина, однако, неполная и односторонняя. Этому не приходится удивляться, потому что во время битвы видятся только внутренние проявления кризиса, а после битвы участники неохотно говорят о сущностном его содержании.

Кризис в битве за Монте-Кассино был чрезвычайно глубоким и сильным, потому что и сама битва стала недюжинным явлением в истории войн. Поле битвы Монте-Кассино уже было знаменито во всем мире неудачами прежних атак союзников и бомбардировками монастыря. Этот факт должен был сказаться на психике солдат, которым в ближайшее время предстояло включиться в эту битву.

Во время всех предшествующих сражений под стенами монастыря встречались только «противники». Теперь же должны были столкнуться «враги». Взаимная ненависть, передававшаяся почти тысячу лет из поколения в поколения, чувство обиды, глубоко вросшее в польскую душу, невиданные преступления, совершенные оккупантами в стране, — всё это предопределяло, что борьба будет непримиримой, до последней капли крови.

Противостояли друг другу два разных мировоззрения и две разных воли.

В этих условиях кризис боя быстро нарастал по обе стороны фронта и становился страшным. Прежде всего из-за людских потерь. Массированный артиллерийский огонь обрушился на немцев в момент подготовки к передислокации частей первой линии и принес большие потери как на монастырском участке, так и в долине реки Лири. Немцы в это время уже не располагали такими многочисленными материальными и людскими резервами, как ранее, поэтому латание каждой дыры могло проводиться только перемещением сил с других участков фронта.

Наши части в первую ночь боя были обескровлены так сильно, что кризис, очень острый и глубокий, был неминуем.

Совершенно естественно, что истинные данные о потерях не отвечали картине, воссоздаваемой на основе личных впечатлений и донесений, полученных в первые дни сражения. Каждая, даже самая лучшая воинская часть состоит из людей разной физической и психической стойкости. Следует принять за очевидное, что во время столь тяжкого боя часть солдат воспользовалась возможностью переждать в каком-то безопасном убежище в скалах либо отойти в тыл под предлогом эвакуации раненых или просто по ошибке, заблудившись в такой запутанной, дикой и пересеченной местности, плотно обстреливаемой и задымленной. Через некоторое время люди находились, но в момент подсчета в ходе боя или сразу после него их отсутствие засчитывалось как потери. Создавалось впечатление, что то или иное подразделение вообще перестало существовать.

Название «рота» или «батальон» приобретает для нас истинный смысл только тогда, когда известно, сколько на самом деле людей и вооружения это подразделение имеет. В период битвы за Монте-Кассино боевой состав наших пехотных рот не превышал 60–80 человек. Поэтому любые потери, даже менее чувствительные, чем действительно имевшие место, командиры переживали очень остро.

Кризис в относительно малой степени коснулся рядовых и не мог проявиться на низших уровнях командования, так как значительная часть унтер-офицеров и младших офицеров, командовавших взводами, полуротами и ротами, была убита или ранена. Те, кто уцелел, еще находились в пылу борьбы и ожидали ее продолжения. Кризис пролегал лишь между двумя принципиальными возможностями — жизни и смерти.

А далее?

А далее в игру вступало чувство ответственности за жизнь порученных тебе людей, за выполнение поставленных задач, за способ ведения боя. Каждый из командиров неоднократно подвергал сомнению свои действия, вновь и вновь обдумывая, не совершил ли он ошибки, не пренебрег ли чем-то, были ли его приказы достаточно точными. Батальон, бригада и дивизия были уровнем, на котором кризис проявился сильнее всего.

Разочарованные голоса, обескураживающие донесения о том, что некому дальше вести бой, иногда даже критика приказов, поступающих от командиров, которые были известны как люди смелые и стойкие, волна сомнений — всё это захлестнуло корпус. Но здесь, однако, не вызвало того же резонанса. Никто даже из близкого окружения не знал, что думает и что в

глубине души переживает их командир — генерал Андерс. Ни в лице его, ни в голосе ничто не выказывало сомнения. В эти тяжелые дни он давал подчиненным впечатляющий пример спокойствия и присутствия духа. Сердечно, по-дружески, но твердо он поддерживал в них энергию и веру в победу.

Как на самом деле выглядел кризис и как он был преодолен, я мог видеть по горячим следам на завтра после захлебнувшейся атаки. Из штаба самым тяжким казалось положение на участке 5 й Восточной дивизии.

— Поезжай к ним, посмотри, как там дела, поговори с ними, — дал мне приказ генерал Андерс. Вместе с генералом Суликом на двух «Виллисах» мы двинулись в направлении фронта. Переправа через реку Рапидо, куда мы направлялись, была как раз под огнем тяжелой артиллерии врага. Рядом находился пункт водоснабжения передовых частей. Когда мы приблизились к реке, артиллерийский огонь стих. В клубах пыли и дыма в окопах и траншеях стали видны люди, которые спокойно взялись за только что прерванную работу — стали наполнять водой жестяные фляги. Они улыбались нам и подшучивали друг над другом, обсуждая недавний налет и недопитый цикорий.

Дальше мы поднимались по скалистой расселине, в которой отдыхал 15-й батальон, один из тех, что понесли наибольшие потери. Уже у подножья из блиндажа вышел удивительно молодой подпоручик с лицом, черным от дыма и грязи, с красными от недосыпания глазами, отдал честь и четким уверенным голосом заявил:

— Господин генерал, прошу немедленно надеть каску. Комбат запретил находиться без каски в расположении батальона! — Мы оба надели каски и начали подъем. Хотя и без вещмешков, мы обливались потом, солнце сильно пекло. Несколько раз мы останавливались, чтобы поговорить с солдатами и отдохнуть. Слышали вопросы о ходе битвы и слова, полные веры, что победа будет за нами. Солдатские руки протягивали нам фляжки с водой, а ведь люди даже не брились, чтобы не растратить ни капли бесценной влаги.

На середине расселины нас нагнали командир батальона подполковник Каминский и его заместитель майор Жихонь, возвращавшиеся с совещания в штабе бригады. Оба улыбались, были спокойны. Только усталые и покрасневшие глаза смотрели серьезно и сурово. У самой линии огня, чуть в стороне от солдатских окопов, был блиндаж командира батальона. Здесь нас никто не мог видеть. Лицо подполковника Каминского

неожиданно изменилось, погрузнело, осунулось. На мой вопрос о положении батальона он тихо ответил, что батальона больше нет. Те несколько десятков человек, которых мы видели по дороге, — это все, кто уцелел.

В голосе этого человека звучало отчаяние. Понимание, что атака не удалась, что ее нужно повторить, а в батальоне не наберется людей даже на роту, угнетало его и лишало обычного пыла и решимости. Он еще не знал, что новое наступление начнется через несколько дней, а за это время батальон пополнится, потому что вернутся рассеянные и заблудившиеся люди и легкораненные из госпиталя.

Он быстро обрел равновесие и энергично взялся приводить в порядок остатки батальона и готовиться к новому бою. Но уже знал, насколько высокую цену нужно заплатить за победу. Знал, что сам поведет своих солдат. Может быть, предчувствовал, что отдаст здесь свою жизнь «за Польшу», как скажет умирая. С теми же словами погиб и его заместитель, майор Жихонь.

Началась вторая атака. По мере ее развития стал нарастать новый кризис — на этот раз от физической и психической усталости солдат.

Пришли минуты последних схваток, так прекрасно описанных Ваньковичем, когда надо было сделать всего лишь еще одно усилие, чтобы склонить весы победы в нашу сторону. Но на это у солдат уже не было сил.

Это были те минуты боя, когда у командира остается только один резерв — он сам. Именно в таком положении оказался командир 5-й бригады полковник Курек. Он, не колеблясь ни минуты, пошел вперед, чтобы преодолеть этот кризис, пошел, потому что солдаты должны знать, что бой продолжается и командир впереди.

Пошел и погиб.

За победу. За Польшу.

Юзеф Чапский

Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского

Автор ни на минуту не забывает об ответственности за смысл и качество каждого слова, и его заботит не только литература, но и человеческое ее содержание. В столь мрачный для поляков период эта книга радуется и поддерживает, свидетельствует о

неразрывной связи живых и павших в борьбе за самое главное, о неуничтожимой силе сути польской традиции.

Норвид пишет в новелле «Горсть песка»: «Знай, что традицией разнится величие человеческое от зверей полевых, а тот, кто от совести истории оторвется — дичает на отдаленном острове... так-то вот бывает, что заново апостолов посылать им надо, чтобы вернулись в былое течение».

Мы не одичаем на отдаленном острове, потому что среди сегодняшней молодежи — такие люди, как автор этой книги, стремящиеся развить те черты человеческого характера, которые проявляются в отношении к жизни, к литературе, к культуре.

Когда Грудзинский в ночь с 16 на 17 мая был послан радистом к выдвинутому артиллерийскому наблюдателю на высоту 593, командир его, майор Строевский, останки которого меньше чем через сутки тот же Грудзинский с товарищами будет выносить с этой «жертвенной горы», сказал: «Не знаю, парень, вернешься ли, но знай, сколько от тебя зависит». Слова светлой памяти майора Строевского автор этой книги запомнил как завет на всю оставшуюся жизнь и на каждое дело, которым он занимается.

«Помни, сколько от тебя зависит». Грудзинский помнит, что, участвуя в борьбе нынешнего поколения за то, чтобы не одичать на отдаленном острове, он должен, как на склонах Монте-Кассино, на каждой своей странице держать неразрывную связь с живыми и мертвыми, защищая «незримый град, который характеры людские стерегут».

Норман Дэвис

Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009)

Битва за Монте-Кассино велась не только между немцами и поляками. Это была сложная, долгосрочная операция, в которой многочисленные формирования Вермахта и Люфтваффе столкнулись с двумя союзническими армиями — американской 5-й армией под командованием генерала Марка Кларка и 8-й британской генерала сэра Оливера Лиса. Второй корпус генерала Андерса, сражавшейся в рядах 8-й армии под британским флагом, был лишь одним из многих воинских соединений, что, впрочем, ничуть не умаляет его заслуг.

Следует также отметить, что итальянская кампания 1943–1945 гг., в ходе которой произошла битва под Монте-Кассино и была

прорвана «линия Густава», не проходила в соответствии с ожиданиями союзников. После падения фашистского режима в Италии главной стратегической целью командующего немецким фронтом генерала Кессельринга было задержать наступление союзнических сил и не дать им перейти альпийские границы Третьего Рейха. Стратегия Кессельринга оказалась верной — планы союзников были сорваны. Даже в самом конце войны, в мае 1945 г., 5-я и 8-я армия всё ещё находились далеко от Альп. Поляки дошли до Болоньи и Римини, после чего были остановлены. Вопреки наполеоновским планам Черчилля, ни один солдат союзнических армий даже не приблизился к Люблянскому перевалу. Разумеется, нельзя говорить, что жертва, принесенная при Монте-Кассино, была напрасной, как можно вычитать в некоторых прогорклых комментариях, нельзя и считать, что итальянская кампания не имела влияния на окончательную победу союзнических сил. Напротив: взятие Монте-Кассино польскими войсками спасло западные силы от конфуза в мае 1944-го, когда их успехи на других фронтах оставляли желать много лучшего, в то время как сталинская Красная армия крушила немцев на восточном фронте. Сталинградская битва была, несомненно, более масштабной, однако Монте-Кассино принесло сходный результат, показав, что фашистская военная машина не непобедима, и это позволяло не утратить надежду на успех. Освобождение Рима, Вечного города, путь к которому лежал через Монте-Кассино, имеет ранг события большого политического, психологического и символического значения. Более того, после выхода Италии из Оси и нейтрализации многочисленной итальянской армии бои на полуострове значительно ослабили немцев и сыграли немалую роль в разгроме гитлеровского Рейха. Конечно, это не было безусловным триумфом, который американцы и британцы склонны считать своим, однако нельзя говорить и о позорной неудаче.

Авторы:

1. Зигмунт Богуш-Шишко (1893-1982), в период I Мировой войны служил в русской армии, затем в Легионах Пилсудского. С 1918 — профессиональный военный. С 1940 — командующий Отдельной бригадой подгальских стрелков во Франции. С 1942 — начальник штаба Польской Армии под командованием Владислава Андерса.

2. Юзеф Чапский (1896-1993), художник, эссеист, автор воспоминаний, прежде всего книги «На нечеловеческой земле» (1949).

3. Норман Дэвис (1939 г.р.), британский историк, автор, в частности, истории Польши «God`s Playground».

Источники:

1. Зигмунт Богуш-Шишко, Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954).
2. Юзеф Чапский, Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского
3. Норман Дэвис, Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009).

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[11] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[12]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских

солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

Бронислав Ляхович (1907–1943). В 1925–1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[13]. Можно встретить и более радикальные оценки.

S. Jaczyński. Bitwa pod Lenino w świetle najnowszych badań // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. Red. Stefan Zwoliński. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.

Мы сегодня знаем больше, чем десять–двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943 м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

Хроника 1-й Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1 й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1 й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1 го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[14], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

* Болеслав Кеневич (1907–1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.

Командир 1-го полка^[15] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1-го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где вязли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[16] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[17] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Две пехотные дивизии Красной армии (42 я и 290 я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1 й пехотной дивизии с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[18]:

Влодзимеж Сокорский (1908–1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1 го пехотного полка, который сначала действовал

отлично. Но командование 1 го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншеи.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[19]), так и пилсудчики (Заблудовский^[20]

), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

1. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1-й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
2. Бронислав Ляхович (1907-1943). В 1925-1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.
3. S. Jaczynski. Bitwa pod Lenino w swietle najnowszych badan // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstajacego systemu wladzy. Red. Stefan Zwolinski. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.
4. Болеслав Кеневич (1907-1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.
5. Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.
6. Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.
7. Две пехотные дивизии Красной армии (42-я и 290-я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

8. Влодзимеж Сокорский (1908-1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.
9. Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.
10. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.
11. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1 й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.

ДВЕ БИТВЫ

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[1] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[2]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав

Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[3]. Можно встретить и более радикальные оценки.

Мы сегодня знаем больше, чем десять-двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943-м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

ХРОНИКА 1-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1-й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подойдя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1-й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1-го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[4], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

Командир 1-го полка^[5] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1 го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в

распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где взяли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[6] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[7] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1-й пехотной дивизии

с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[8]:

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и

мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1-го пехотного полка, который сначала действовал отлично. Но командование 1-го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншей.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[9]), так и пилсудчики (Заблудовский^[10]), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

МОНТЕ-КАССИНО

К 70-летию битвы

Зигмунт Богуш-Шишко

Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954)

Человеческая драма, которая называется битвой, столь сложна и многогранна, что даже самый способный и самый проницательный наблюдатель не может охватить ее полностью и описать исчерпывающе. Самое трудное — это уловить и понять сущность кризиса, который рождается в момент начала боя, нарастает по мере его хода и затем часто предопределяет его исход.

Истоки кризиса неизменно коренятся в глубинах человеческого духа, а формы кризиса столь же различны, как различен духовный облик участников драмы. По-своему

переживает и видит битву военный корреспондент, ответственный лишь за себя самого, по-своему — рядовой, связанный общей задачей с товарищами, и по-своему, совсем иначе, — командиры всех уровней снизу доверху.

Никогда нельзя предвидеть, что станет причиной кризиса и какую форму он обретет. Картина битвы за Монте-Кассино, начертанная пером Мельхиора Ваньковича, поражает нас ужасом кризиса, вызванного невероятно тяжкими потерями и крушением первого натиска на немецкие позиции. Картина, однако, неполная и односторонняя. Этому не приходится удивляться, потому что во время битвы видятся только внутренние проявления кризиса, а после битвы участники неохотно говорят о сущностном его содержании.

Кризис в битве за Монте-Кассино был чрезвычайно глубоким и сильным, потому что и сама битва стала недюжинным явлением в истории войн. Поле битвы Монте-Кассино уже было знаменито во всем мире неудачами прежних атак союзников и бомбардировками монастыря. Этот факт должен был сказаться на психике солдат, которым в ближайшее время предстояло включиться в эту битву.

Во время всех предшествующих сражений под стенами монастыря встречались только «противники». Теперь же должны были столкнуться «враги». Взаимная ненависть, передававшаяся почти тысячу лет из поколения в поколения, чувство обиды, глубоко вросшее в польскую душу, невиданные преступления, совершенные оккупантами в стране, — всё это предопределяло, что борьба будет непримиримой, до последней капли крови.

Противостояли друг другу два разных мировоззрения и две разных воли.

В этих условиях кризис боя быстро нарастал по обе стороны фронта и становился страшным. Прежде всего из-за людских потерь. Массированный артиллерийский огонь обрушился на немцев в момент подготовки к передислокации частей первой линии и принес большие потери как на монастырском участке, так и в долине реки Лири. Немцы в это время уже не располагали такими многочисленными материальными и людскими резервами, как ранее, поэтому латание каждой дыры могло проводиться только перемещением сил с других участков фронта.

Наши части в первую ночь боя были обескровлены так сильно, что кризис, очень острый и глубокий, был неминуем.

Совершенно естественно, что истинные данные о потерях не отвечали картине, воссоздаваемой на основе личных впечатлений и донесений, полученных в первые дни сражения. Каждая, даже самая лучшая воинская часть состоит из людей разной физической и психической стойкости. Следует принять за очевидное, что во время столь тяжкого боя часть солдат воспользовалась возможностью переждать в каком-то безопасном убежище в скалах либо отойти в тыл под предлогом эвакуации раненых или просто по ошибке, заблудившись в такой запутанной, дикой и пересеченной местности, плотно обстреливаемой и задымленной. Через некоторое время люди находились, но в момент подсчета в ходе боя или сразу после него их отсутствие засчитывалось как потери. Создавалось впечатление, что то или иное подразделение вообще перестало существовать.

Название «рота» или «батальон» приобретает для нас истинный смысл только тогда, когда известно, сколько на самом деле людей и вооружения это подразделение имеет. В период битвы за Монте-Кассино боевой состав наших пехотных рот не превышал 60–80 человек. Поэтому любые потери, даже менее чувствительные, чем действительно имевшие место, командиры переживали очень остро.

Кризис в относительно малой степени коснулся рядовых и не мог проявиться на низших уровнях командования, так как значительная часть унтер-офицеров и младших офицеров, командовавших взводами, полуротами и ротами, была убита или ранена. Те, кто уцелел, еще находились в пылу борьбы и ожидали ее продолжения. Кризис пролегал лишь между двумя принципиальными возможностями — жизни и смерти.

А далее?

А далее в игру вступало чувство ответственности за жизнь порученных тебе людей, за выполнение поставленных задач, за способ ведения боя. Каждый из командиров неоднократно подвергал сомнению свои действия, вновь и вновь обдумывая, не совершил ли он ошибки, не пренебрег ли чем-то, были ли его приказы достаточно точными. Батальон, бригада и дивизия были уровнем, на котором кризис проявился сильнее всего.

Разочарованные голоса, обескураживающие донесения о том, что некому дальше вести бой, иногда даже критика приказов, поступающих от командиров, которые были известны как люди смелые и стойкие, волна сомнений — всё это захлестнуло корпус. Но здесь, однако, не вызвало того же резонанса. Никто даже из близкого окружения не знал, что думает и что в

глубине души переживает их командир — генерал Андерс. Ни в лице его, ни в голосе ничто не выказывало сомнения. В эти тяжелые дни он давал подчиненным впечатляющий пример спокойствия и присутствия духа. Сердечно, по-дружески, но твердо он поддерживал в них энергию и веру в победу.

Как на самом деле выглядел кризис и как он был преодолен, я мог видеть по горячим следам на завтра после захлебнувшейся атаки. Из штаба самым тяжким казалось положение на участке 5 й Восточной дивизии.

— Поезжай к ним, посмотри, как там дела, поговори с ними, — дал мне приказ генерал Андерс. Вместе с генералом Суликом на двух «Виллисах» мы двинулись в направлении фронта. Переправа через реку Рапидо, куда мы направлялись, была как раз под огнем тяжелой артиллерии врага. Рядом находился пункт водоснабжения передовых частей. Когда мы приблизились к реке, артиллерийский огонь стих. В клубах пыли и дыма в окопах и траншеях стали видны люди, которые спокойно взялись за только что прерванную работу — стали наполнять водой жестяные фляги. Они улыбались нам и подшучивали друг над другом, обсуждая недавний налет и недопитый цикорий.

Дальше мы поднимались по скалистой расселине, в которой отдыхал 15-й батальон, один из тех, что понесли наибольшие потери. Уже у подножья из блиндажа вышел удивительно молодой подпоручик с лицом, черным от дыма и грязи, с красными от недосыпания глазами, отдал честь и четким уверенным голосом заявил:

— Господин генерал, прошу немедленно надеть каску. Комбат запретил находиться без каски в расположении батальона! — Мы оба надели каски и начали подъем. Хотя и без вещмешков, мы обливались потом, солнце сильно пекло. Несколько раз мы останавливались, чтобы поговорить с солдатами и отдохнуть. Слышали вопросы о ходе битвы и слова, полные веры, что победа будет за нами. Солдатские руки протягивали нам фляжки с водой, а ведь люди даже не брились, чтобы не растратить ни капли бесценной влаги.

На середине расселины нас нагнали командир батальона подполковник Каминский и его заместитель майор Жихонь, возвращавшиеся с совещания в штабе бригады. Оба улыбались, были спокойны. Только усталые и покрасневшие глаза смотрели серьезно и сурово. У самой линии огня, чуть в стороне от солдатских окопов, был блиндаж командира батальона. Здесь нас никто не мог видеть. Лицо подполковника Каминского

неожиданно изменилось, погрузнело, осунулось. На мой вопрос о положении батальона он тихо ответил, что батальона больше нет. Те несколько десятков человек, которых мы видели по дороге, — это все, кто уцелел.

В голосе этого человека звучало отчаяние. Понимание, что атака не удалась, что ее нужно повторить, а в батальоне не наберется людей даже на роту, угнетало его и лишало обычного пыла и решимости. Он еще не знал, что новое наступление начнется через несколько дней, а за это время батальон пополнится, потому что вернутся рассеянные и заблудившиеся люди и легкораненные из госпиталя.

Он быстро обрел равновесие и энергично взялся приводить в порядок остатки батальона и готовиться к новому бою. Но уже знал, насколько высокую цену нужно заплатить за победу. Знал, что сам поведет своих солдат. Может быть, предчувствовал, что отдаст здесь свою жизнь «за Польшу», как скажет умирая. С теми же словами погиб и его заместитель, майор Жихонь.

Началась вторая атака. По мере ее развития стал нарастать новый кризис — на этот раз от физической и психической усталости солдат.

Пришли минуты последних схваток, так прекрасно описанных Ваньковичем, когда надо было сделать всего лишь еще одно усилие, чтобы склонить весы победы в нашу сторону. Но на это у солдат уже не было сил.

Это были те минуты боя, когда у командира остается только один резерв — он сам. Именно в таком положении оказался командир 5-й бригады полковник Курек. Он, не колеблясь ни минуты, пошел вперед, чтобы преодолеть этот кризис, пошел, потому что солдаты должны знать, что бой продолжается и командир впереди.

Пошел и погиб.

За победу. За Польшу.

Юзеф Чапский

Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского

Автор ни на минуту не забывает об ответственности за смысл и качество каждого слова, и его заботит не только литература, но и человеческое ее содержание. В столь мрачный для поляков период эта книга радуется и поддерживает, свидетельствует о

неразрывной связи живых и павших в борьбе за самое главное, о неуничтожимой силе сути польской традиции.

Норвид пишет в новелле «Горсть песка»: «Знай, что традицией разнится величие человеческое от зверей полевых, а тот, кто от совести истории оторвется — дичает на отдаленном острове... так-то вот бывает, что заново апостолов посылать им надо, чтобы вернулись в былое течение».

Мы не одичаем на отдаленном острове, потому что среди сегодняшней молодежи — такие люди, как автор этой книги, стремящиеся развить те черты человеческого характера, которые проявляются в отношении к жизни, к литературе, к культуре.

Когда Грудзинский в ночь с 16 на 17 мая был послан радистом к выдвинутому артиллерийскому наблюдателю на высоту 593, командир его, майор Строевский, останки которого меньше чем через сутки тот же Грудзинский с товарищами будет выносить с этой «жертвенной горы», сказал: «Не знаю, парень, вернешься ли, но знай, сколько от тебя зависит». Слова светлой памяти майора Строевского автор этой книги запомнил как завет на всю оставшуюся жизнь и на каждое дело, которым он занимается.

«Помни, сколько от тебя зависит». Грудзинский помнит, что, участвуя в борьбе нынешнего поколения за то, чтобы не одичать на отдаленном острове, он должен, как на склонах Монте-Кассино, на каждой своей странице держать неразрывную связь с живыми и мертвыми, защищая «незримый град, который характеры людские стерегут».

Норман Дэвис

Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009)

Битва за Монте-Кассино велась не только между немцами и поляками. Это была сложная, долгосрочная операция, в которой многочисленные формирования Вермахта и Люфтваффе столкнулись с двумя союзническими армиями — американской 5-й армией под командованием генерала Марка Кларка и 8-й британской генерала сэра Оливера Лиса. Второй корпус генерала Андерса, сражавшейся в рядах 8-й армии под британским флагом, был лишь одним из многих воинских соединений, что, впрочем, ничуть не умаляет его заслуг.

Следует также отметить, что итальянская кампания 1943–1945 гг., в ходе которой произошла битва под Монте-Кассино и была

прорвана «линия Густава», не проходила в соответствии с ожиданиями союзников. После падения фашистского режима в Италии главной стратегической целью командующего немецким фронтом генерала Кессельринга было задержать наступление союзнических сил и не дать им перейти альпийские границы Третьего Рейха. Стратегия Кессельринга оказалась верной — планы союзников были сорваны. Даже в самом конце войны, в мае 1945 г., 5-я и 8-я армия всё ещё находились далеко от Альп. Поляки дошли до Болоньи и Римини, после чего были остановлены. Вопреки наполеоновским планам Черчилля, ни один солдат союзнических армий даже не приблизился к Люблянскому перевалу. Разумеется, нельзя говорить, что жертва, принесенная при Монте-Кассино, была напрасной, как можно вычитать в некоторых прогорклых комментариях, нельзя и считать, что итальянская кампания не имела влияния на окончательную победу союзнических сил. Напротив: взятие Монте-Кассино польскими войсками спасло западные силы от конфуза в мае 1944-го, когда их успехи на других фронтах оставляли желать много лучшего, в то время как сталинская Красная армия крушила немцев на восточном фронте. Сталинградская битва была, несомненно, более масштабной, однако Монте-Кассино принесло сходный результат, показав, что фашистская военная машина не непобедима, и это позволяло не утратить надежду на успех. Освобождение Рима, Вечного города, путь к которому лежал через Монте-Кассино, имеет ранг события большого политического, психологического и символического значения. Более того, после выхода Италии из Оси и нейтрализации многочисленной итальянской армии бои на полуострове значительно ослабили немцев и сыграли немалую роль в разгроме гитлеровского Рейха. Конечно, это не было безусловным триумфом, который американцы и британцы склонны считать своим, однако нельзя говорить и о позорной неудаче.

Авторы:

1. Зигмунт Богуш-Шишко (1893-1982), в период I Мировой войны служил в русской армии, затем в Легионах Пилсудского. С 1918 — профессиональный военный. С 1940 — командующий Отдельной бригадой подгальских стрелков во Франции. С 1942 — начальник штаба Польской Армии под командованием Владислава Андерса.
2. Юзеф Чапский (1896-1993), художник, эссеист, автор воспоминаний, прежде всего книги «На нечеловеческой земле» (1949).

3. Норман Дэвис (1939 г.р.), британский историк, автор, в частности, истории Польши «God`s Playground».

Источники:

1. Зигмунт Богуш-Шишко, Послесловие к книге Мельхиора Ваньковича «Это было под Монте-Кассино» (Лондон, 1954).
2. Юзеф Чапский, Предисловие к «Живым и мертвым» Густава Герлинга-Грудзинского
3. Норман Дэвис, Из предисловия к книге Мельхиора Ваньковича (2009).

Петр Мицнер

В мае нынешнего года исполнится 65 лет со дня окончания II Мировой войны. В связи с этим мы вспоминаем два сражения — под Ленино (12–13 октября 1943) и при Монте-Кассино (12–18 мая 1944). Оба чрезвычайно тяжелых и кровавых. И оба сражения приобрели символическое значение, что, с одной стороны, возвысило их тяготы, страдание и смерть, а с другой — отняло у них человеческое измерение.

ЛЕНИНО

В сражении под Ленино 12 и 13 октября 1943 приняла участие 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Почти полвека правда об этой битве была практически недоступна, искажена цензурой, скрыта в архивах. Только недавно историки начали подступать к ней на основе источников. Попробуем суммировать их выводы.

Сформированная в Сельцах на Оке 1-я дивизия, состоявшая из недавних эков и ссыльных, была брошена в бой без достаточной подготовки. Это было сделано по просьбе командира — генерала Зигмунта Берлинга^[11] и основательницы Союза польских патриотов Ванды Василевской. После долгого, тяжелого марша дивизия достигла места, где должна были прорвать линию немецкой обороны. Берлингу, однако, не сообщили о планах советского командования, не знал он также, каковы силы неприятеля.

12 октября на рассвете в разведку боем был послан 1-й батальон под командованием майора Бронислава Ляховича^[12]. Потери были огромны. Решив, что немцы отходят, Берлинг дал приказ начать общее наступление. Артиллерийская подготовка из-за нехватки боеприпасов не удалась. На польских и советских

солдат обрушился удар бомбардировщиков; зенитной артиллерии не было.

Бронислав Ляхович (1907–1943). В 1925–1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.

После двухдневного боя польская дивизия была отведена. Погибло 510 офицеров и солдат, раненых было около 1800, многие попали в плен.

Было ли нужным сражение под Ленино? Об этом еще долго будут спорить исследователи. Военный историк Станислав Ячинский пишет, что оно имело тактическое значение, но «участок фронта, который занимала польская дивизия, оставался [неподвижным] вплоть до июня 1944»^[13]. Можно встретить и более радикальные оценки.

S. Jaczyński. Bitwa pod Lenino w świetle najnowszych badań // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. Red. Stefan Zwoliński. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.

Мы сегодня знаем больше, чем десять–двадцать лет назад, но еще не всё.

Бесценный источник для истории сражения и в целом для истории армии Берлинга — хроникальные записи, которые вел Люциан Шенвальд, до сих пор полностью не опубликованные. Шенвальд (1909–1944) был поэтом, одним из виднейших в своем поколении. До войны следовал поэтике катастрофизма, ему был близок сюрреализм. При всем том еще с молодости Шенвальд был коммунистом. Во время войны находился сначала во Львове, где много печатался, работал на радио. После 22 июня 1941 г. пошел в Красную армию, но вскоре был арестован и сослан в Сибирь. В 1943 м вступил в 1-ю дивизию и стал ее летописцем. Погиб в автомобильном крушении в 1944 году. Хроника долго считалась утраченной. Вот ее фрагменты, фиксирующие совещания после битвы под Ленино.

Затем помещено стихотворение Люциана Шенвальда, в котором факты переходят в легенду.

Люциан Шенвальд

Хроника 1-й Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко

(отрывки)

Совещание после сражения. 15.10.43

(На стенах избы в Николаевке, где расположен 1 й отдел штаба, висит плакат с надписью «Ленино. 12.10.43 — 13.10.43».)

(Телефон выключен.)

Время 10.00.

Генерал (Зигмунт Берлинг):

Почтим минутой молчания память погибших.

(Все встают.)

Ну, садимся.

Боевые действия дивизии в течение 12 и 13 октября дали ценный опыт, за который мы дорого заплатили. Было много причин, не зависящих от нас, которые привели к такому положению вещей, но в нас самих, в дивизии, был источник ошибок, без которых потери были бы меньше.

1. Задачу прорвать фронт дивизия выполнила. Фронт прорван, дивизия выдвинулась вперед, подходя с одной стороны под Тригубово, с другой — под Ползухи.

Выдвинувшись вперед, дивизия из-за бездействия соседей оказалась в мешке, но [неприятеля] обратно не пустила.

2. 1-й пехотный полк, согласно приказу, пошел в наступление и прекрасно продвигался до Тригубова. Деревня Тригубово была вне нашей линии, но из-за бездействия соседей 1 й полк оказался под фланговым огнем и дальше продвигаться не мог. Тогда я приказал брать Тригубово. Деревня была взята 1 м полком, который вышел под фланговым огнем [неприятеля], занявшего высоты к югу от Тригубова. [Неприятель] пошел в контратаку и выбил нас из Тригубова. Со стороны Пунища пошли бронетранспортеры и танки [неприятеля]. С этого момента в полку начался основной беспорядок. В чем причина?

Полк получил приказ наступать тремя эшелонами. Неизвестно почему, но, дойдя до Тригубова, полк имел три батальона в одном эшелоне. Эшелоны смешались: второй с первым, а потом третий со вторым.

Командование было дезорганизовано. Командир 1 го полка потерял управление полком, и то, что там дальше происходило, носило все черты паники.

После вечернего донесения Кеневича^[14], что дела плохи, я решил ввести в действие второй эшелон дивизии.

* Болеслав Кеневич (1907–1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.

Командир 1-го полка^[15] оставил полк, сам оказался в Ползухах и сообщил, что полк разбит, что его нет. Я приказал ему вернуться и взять командование над остатками полка.

Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.

Как видно, командир полка утратил власть над полком с самого начала и уже не владел батальонами, а когда [неприятель] пошел в контратаку, у него уже не было средств противостоять тому, что случилось, — катастрофе 1-го полка. (...)

Если руководство боем не стояло на уровне задачи, то командование ответственно за потери. Но это не освобождает от ответственности командиров, у которых было в распоряжении достаточно тяжелого вооружения, чтобы действовать самим. (...)

Танки попали в очень плохие условия. Саперы строили мост, рассчитанный на 60 тонн, но на лугах, где вязли даже телеги, не было настила, поэтому завязли и танки. Ночью я получил приказ ввести танки в бой, но танки не могли выполнить этот приказ.

[Другим] танкам не нравилось сражаться в боевых порядках пехоты — они принялись маневрировать. Эту роту вам уже до конца войны не найти. (...)

Один из командиров сказал, что вы получили приказ [генерала Берлинга] перевязать раненых и оставить их на месте. Раненые не были перевязаны и лежали по два-три дня. Вы плохо поняли мой приказ. Был приказ, что людям из боевых порядков отлучаться для доставки раненых в тыл нельзя. Это не значит, что медицинская служба должна ждать, пока я подберу раненых. Мне пришлось посадить начальника штаба в машину и отправить по полкам. Позавчера я приказал, чтобы полки, отходя, оставили по два взвода: один — подобрать раненых и убитых, второй — для сбора оружия, своего и трофейного.

Наших раненых подбирали части Красной армии. Правда, и у нас есть раненые красноармейцы. Но это только малая часть. Полковник Галицкий^[16] подтверждает факт, что наши раненые по три дня лежали без еды. (...)

Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.

1. Поэтому. Выяснить всё, чем располагаем, определить потери — людские, материальные. Это сделать еще сегодня.
2. Провести проверку личного состава и перекомплекта.
3. Предложить персональные изменения.
4. Восполнить нехватки. Собрать с поля боя всё, что там осталось.

Совещание 16.10.1943. Время 18.00

Полковник Кеневич:

Плохо были прикрыты фланги.

Когда стало ясно, что соседи^[17] не двинулись, надо было сразу, не дожидаясь приказа, выделить силы на защиту флангов.

Две пехотные дивизии Красной армии (42 я и 290 я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

Наибольшие потери были не при прорыве обороны [неприятеля] (самое большее 30 убитых), а как раз позже, дальше, из-за оголения флангов.

Трофеи надо собрать. Убитых похоронить.

Генерал:

Если бы мы хотели сделать выводы из того, что случилось, то должны были бы разве что взять револьвер и расстреливать.

Прекрасных поступков, прекрасных примеров было много. Мы видели людей, которых надо выдвигать. У нас уже есть свои герои.

Но есть и сукины сыны, которых надо расстреливать.

17 октября 1943, Николаевка.

Стенограмма совещания командования 1 й пехотной дивизии с офицерами по политико-воспитательной работе

Полковник Сокорский^[18]:

Влодзимеж Сокорский (1908–1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.

Мы собрались, чтобы сделать определенный анализ событий 12 и 13 октября и обсудить нашу работу на будущее.

1. О боевых недостатках говорил командир. Мы здесь затронем несколько другую сторону дела.

Мы готовили дивизию не к такому ходу событий, как тот, который имел место в действительности. Мы должны были принять участие в общем советском наступлении после соответствующей артподготовки и под прикрытием с воздуха. Однако война есть война, и в ней есть свои случайности.

Мы не были частью общего наступления. Для прорыва [обороны] был выбран участок едва шестикилометровый. И неприятель не только не собирался отходить, как нам сообщили, но сделал всё, чтобы удержать нас от выхода к Днепру, что означало бы для него разрыв главных линий [коммуникации]. Пользуясь тем, что общего наступления не было, неприятель собрал мощный артиллерийский, танковый и авиационный кулак. Надо было немедленно пересмотреть весь план операции, изменить систему боя в ходе сражения. Это очень трудно и требует опытных командиров и солдат — и мы этого сделать не смогли, хотя наша дивизия и оказалась тут лучшей.

Если бы наши соседи сделали то же, что мы, мы не оказались бы в мешке, и наша задача была бы выполнена.

В условиях, в которых мы были, мы сделали многое как дивизия, как солдаты. Мы прорвали оборону неприятеля, не дали себя окружить. Но мы уткнулись в старые планы и не достаточно быстро изменили систему боя. Мы пытались продолжать наступление, хотя объективных возможностей к этому не было.

Это повлекло за собой серьезные последствия, особенно что касается 1 го пехотного полка, который сначала действовал

отлично. Но командование 1 го полка не смогло овладеть ситуацией в условиях контратак с флангов.

Наша самая большая ошибка состоит в том, что мы недооценили силы противника и не перестроили систему боя, но мы и не могли ее перестроить, потому что командиры не руководили своими частями как следует.

Боевые и политические офицеры вели себя как герои — но герои на уровне командира роты и даже взвода. Надо было меньше подвергать себя опасности, а больше руководить. (...)

Наш солдат проявил невероятный героизм. Командиры Красной армии говорят, что они не видели частей, которые бы наступали под таким огнем. Но — говорят [нрзб]. Сами пострадали от своего героизма. Под огнем тяжелой артиллерии нельзя ложиться, а под пулеметным — надо.

Наш солдат при большом героизме проявил недостаточную психическую устойчивость. Всегда был только шаг от героизма до паники. Наш солдат не закален в бою. Никогда еще дивизию сразу не вводили в такой бой. Были, однако, и случаи большого упорства в бою.

Например, сорок автоматчиков, которые окопались в тылу врага и держались [полтора] суток. После этого один из них сообщил, что кончаются боеприпасы. Тогда всем приказано было отходить. Командиры о них не знали. Офицеры проявили большую отвагу, но все они себя вели как командиры роты. Иногда этот героизм был просто вредным. Командиры полков и батальонов под огнем ходили себе поверху траншеи.

Первое сражение — это первое сражение, и проявить героизм в нем необходимо. Но это должен быть разумный героизм. (...)

В целом поведение офицеров было замечательным.

Как коммунисты (Калиновский^[19]), так и пилсудчики (Заблудовский^[20]

), сторонники Сикорского или крестьянской партии — все они показали, что Польша может создать единый большой национальный лагерь.

Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.

В бою было много героизма, который пошел прахом, потому что командир не выполнил свою работу.

Если офицер-политработник будет об этом помнить и заставлять командира работать, то мы с такой историей больше не столкнемся.

Пехотные полки имели по два, а потом по одному артиллерийскому дивизиону, а задачи должен был решать командир артиллерии дивизии. Снарядов было много, но били по своим, потому что артиллерии не сказали, куда бить. А немецких пулеметов не подавили.

Этот опыт нам дорого обошелся, другого такого опыта мы не переживем, потому что у нас погибли лучшие.

Ну, это всё.

1. Зигмунт Берлинг (1896-1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1-й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
2. Бронислав Ляхович (1907-1943). В 1925-1937 и с 1941 служил в Красной армии, в 1943 был переведен в 1-ю пехотную дивизию. Погиб под Ленино.
3. S. Jaczynski. Bitwa pod Lenino w swietle najnowszych badan // Wojsko polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstajacego systemu wladzy. Red. Stefan Zwolinski. Warszawa, 2003. В книге также помещены выдержки из хроникальных записей Люциана Шенвальда.
4. Болеслав Кеневич (1907-1969). С 1926 в Красной армии, в 1943 откомандирован в 1-ю пехотную дивизию им. Т.Костюшко, заместитель командира дивизии генерала Берлинга. После войны занимал, в частности, должность командира Корпуса внутренней безопасности.
5. Францишек Деркес, впоследствии командир Пражского пехотного полка.
6. Станислав Галицкий, после войны командир 3-й Поморской пехотной дивизии.
7. Две пехотные дивизии Красной армии (42-я и 290-я) и два артиллерийских полка имели в своем составе всего 8 тыс. человек, т.е. половину состава дивизии имени Т.Костюшко.

8. Влодзимеж Сокорский (1908-1999) — до войны коммунистический деятель, в время войны один из организаторов Союза польских патриотов в СССР, позже партийный функционер высокого ранга, мемуарист и прозаик.
9. Мечислав Калиновский (1907-1943), погиб под Ленино. Калиновский, Анеля Кшивонь (погибла) и Юлиан Хюбнер (считавшийся погибшим, но выживший) получили звание Героя Советского Союза.
10. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.
11. Зигмунт Берлинг (1896)1980) — профессиональный военный. Во время войны заключенный в Старобельске и на Лубянке. Офицер формировавшейся в СССР польской армии генерала Андерса, после ее выхода в Иран остался в СССР. Назначенный командиром 1 й пехотной дивизии имени Т.Костюшко, был отозван 30 сентября 1944. После войны занимал второстепенные посты.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. Тадеуш Заблудовский (1908-1984), после войны директор Государственного научного издательства, позже известный переводчик с немецкого.

К ЗАПАДУ ОТ НИСЫ

Над Нисой тишина — свист и вой шрапнели уже отзвучали. Враг отсюда в каких-нибудь восьми километрах, наша пехота идет за ним по пятам.

Стоит тишина, полная тишина — это ж разве шум, когда раздетые по пояс саперы колотят кувалдами у моста? Удары глухие, их поглощают лес, вода, песок. На берегу суетятся несколько офицеров. На той, западной стороне Нисы солдаты вкапывают флагшток с бело-красным флагом, офицеры помогают, фотограф щелкает — каждый хочет сфотографироваться у знамени. Исторический момент! Когда-нибудь о нем будут писать в газетах, в книгах. Мы смеемся, радуемся — ветер! весна! Солнце играет на коричневых торсах саперов, они похожи на греческих борцов — на мгновение забываешь, что война еще не кончилась.

Печет изрядно. Я расстегиваю китель (никто не сделает замечания — фронт!), брожу по песку вдоль окопов. Солдаты из похоронной команды — старые усаые деды — собирают убитых, укладывают их рядом, некоторым приходится распрямлять сжатые пальцы, чтобы взять винтовку. Старый капрал в очках на тощем носу записывает: «Стефанович Петр. Винтовка есть». И добавляет громко, немного монотонно, словно исполняя какой-то обряд:

— Хороший был мужик.

Возле одного лежит окровавленный вещмешок. Я заглядываю в него: засохший хлеб, кусочки колбасы, несколько писем, отправленных из-под Жешува, и начало ненаписанного: «Любимая жена и Вы, дорогие мои родители...»

Капрал протирает очки, прячет записную книжку и кричит на русский манер (это должна быть такая шутка):

— Перекур!^[1]

Солдаты садятся невдалеке от трупов и начинают хлебать кашу из котелков. Я слышу, как они говорят:

— Вот повар засранец, никогда жиру не положит как следует!

Саперы кончили чинить мост, вытирают пот с груди, надевают гимнастерки. На мост ворча въезжает студебеккер, тащит за собой «76». Мы все с беспокойством прислушиваемся к треску моста: выдержит? Слава Богу, выдержал! Студебеккер с пушкой вкатывается на берег и лишь здесь останавливается, основательно вязнет в песке. Расчет выскакивает из кузова, берется за колеса.

— Ооо-оп!

Шофер жмет на газ, яростно двигает рычагами передачи, ругается — ничего не помогает. Стоит, сволочь!

Капитан Стеслович поковылял к саперам:

— Ребята, помогайте!

И к старикам из похоронной команды:

— Гробовщики, кончай жрать! Там пехота пушки ждет! Давай!

Саперы расправляют усталые плечи, деды из похоронной бросают котелки, вцепляются в брюхатые колеса грузовика, хватаются за лафет, кричат, кричат «ооо-оп!» — шофер у себя в кабине снова борется с передачами.

— Ооо-оп! Ооо-оп!

Лейтенант Ёжиков отбегает от флагштока — сфотографировался уже, наверное, раз двенадцать, — командует:

— Раз-два — взяли! Раз-два — взяли!

Руки облепили колеса, спины изогнулись, на «взяли» всё ухнуло — у у ухх! — пошла! пошла! пошла! Шофер махнул рукой из кабины — наша взяла! — артиллеристы заскакивают в кузов, колченогий капитан кричит им вслед:

— Газуйте!

На мост уже вкатывается следующий студебеккер. Ну, этот проедет легко, для него уже проложены колеи. Поручик Мариан Вадецкий, представитель политуправления 2-й армии, садится в кабину. Я заскакиваю в кузов. Мы въезжаем в лес — здесь тенисто и прохладно. Я застегиваю китель и напрягаю зрение: замечаю брошенную портянку. Здесь шла пехота.

— Вы взяли мой вещмешок?

Говорят, что вроде взяли, но это неправда: я перерываю все барахло — нету. Я запыленный, уставший, в ушах шумит от гула передовой, с которой я только что вернулся. Мы уже в двадцати километрах к западу от Нисы. 7-я, 8-я, 9-я и 5-я дивизии уже намного дальше, говорят, заняли Розенбург и даже Бауцен, но наша задача другая: мы должны замыкать движение 2-й армии, не выпускать немцев из окружения и загонять их в котел. У тех дивизий есть танковая поддержка — у нашей, десятой, нет никакой бронетехники. Двадцать километров, которые мы проехали, — это хвойный лес. Темный, поросший мхом, устланный прелыми иголками. Ну и как теперь возвращаться за вещмешком в Гросс-Цельтен, на польскую сторону Нисы? Мне хочется есть, пить, и вообще я взбешен.

— Что было в этом мешке? — с раздражением спрашивает Марыся, секретарша майора. — Золото?

— Записи были. С тридцать девятого года по сегодняшний день. И рукопись романа. И вообще — что ты понимаешь?

— Какое мне до этого дело? Почеши мне немного спинку.

Ясное дело, подцепила чесотку. Все мы чешемся, это разносится миглом, невозможно уследить. Я даже знаю, откуда это взялось: в Мюккебурге, в Западной Померании, вся деревня была чесоточная. Чистоплюи!

Я сую Марысе руку за воротник блузки, чешу ей спину, а она аж изгибается от удовольствия. Рубашка у нее шелковая, спина гладкая и теплая — мне становится как-то не по себе, и я останавливаюсь. Я смотрю на ее спину и знаю, что глаза у меня горят. Марыся поворачивается и удивленно спрашивает:

— Ты что?

— Ничего. Не хочу.

Девушка раздражается смехом и комично жалуется:

— Так что же мне делать? Чешется ведь.

А затем добавляет назидательно:

— Все вы одинаковые. Ну и типы!

Стах Ковальский, шестнадцатилетний помощник шофера, заранее приготовил мне постель — очень мило с его стороны. Выхожу во двор к колодцу, оглядываюсь: лес, черный лес

вокруг, на темно-сером небе тускло поблескивают первые звезды, где-то вдали врезаются в горизонт красные языки. Слышен грохот: бьют орудия.

Столовая, как всегда, где-то в конце деревни — вечно ее так размещают, чтобы нам приходилось тащиться километра два. Сегодня ужин будет в одиннадцать ночи. Я моюсь у колодца и возвращаюсь в дом. В кухне Янка готовит курицу, будет для нее и для Владека Ясенского — они живут вместе. Спускаюсь в подвал, обнаруживаю какие-то старые банки: смородиновый компот, такой кислый, что просто мороз по коже. Ковальский достает из ящика «заупокойные» свечи, поручик Жух громко жалуется на столовую, Марыся продолжает чесаться и смеяться — будто это смешно, что у нее тело чешется.

Приходят два солдата-связиста.

— Где поставить телефон?

Ставят на окне. Стоит им подключить аппарат, как в нем тут же начинается что-то тренькать. Это ко мне. Звонит майор, заместитель начдива по политико-воспитательной работе.

— Вы уже сделали бюллетень? — спрашивает он. Я слышу его словно издалека. Бюллетень, бюллетень. Ага, ну да, ведь я всегда его делаю.

— Сейчас возьмусь, — обещаю я.

— У вас есть что-нибудь интересное? Фамилии отличившихся?

— Прежде всего саперов. А из других — капитан Мартинога, поручик Парис, — я читаю ему по бумажке список фамилий. — Все — из 29-го полка. Там я был сам. О других полках у меня сведений нет. Надо Маруле и Выдре надрать уши, гражданин майор. Они должны заботиться о том, чтобы фамилии лучших попали в бюллетень.

— Сами старайтесь, — говорит майор. (Хорошо ему говорить «старайся»! А как? Я ведь на части не разорвусь!) — У них там свои проблемы. Ах да, забыл. Марула ранен.

— Ранен?

— Да. Ему оторвало — ну, сами знаете...

Я ничего не отвечаю.

— Его уже отвезли в тыл, — продолжает майор. — Надо дать ему денежное пособие, — помолчал минуту. — Банский!

— Что Банский?

— Банский пусть идет на место Марулы. Сегодня же ночью. Подготовьте приказ, капитан подпишет за меня. Спокойной ночи.

Я кладу трубку. Свечки догорают, в их слабо мерцающем свете я вижу сосредоточенные лица наших офицеров: капитан Лазарский, Банский, Жух, Раевский и Ясенский. Они окружают меня:

— Ну, что он сказал?

— Банского на фронт... Марула ранен, мошну ему оторвало...

— Где стоит 27-й? — спрашивает Банский и, не дожидаясь ответа, начинает собирать вещи, а Марыся уже отстукивает на машинке приказ. Ковальский зажигает несколько новых свечек. Во двор вкатывается вандерер майора. Шофер Гурский, веселый живой блондин, выкрикивает:

— За господином поручиком Банским! Приказ готов!

Банский садится в машину.

— Сообщите жене, — просит он.

Его жена — инструктор по пропаганде в учебном батальоне.

Банский оглядывается по сторонам: черный лес, фиолетовое небо, на горизонте красные зарницы. Прислушивается: гремит.

Шофер заводит мотор. Мгновение спустя их поглощает ночь.

Я возвращаюсь на квартиру.

Наш лингвист, сержант Бибелькраут, старый бродяга и бабник, слушает по радио английскую сводку. Уткнул нос в приемник, машет на нас рукой и шипит:

— Тсс! Работать, сукины дети, не даете... Барышня Марыся, вставляйте ленту, будем писать сводку.

Я слышу, как он диктует:

— ...Абзац. Войска союзников заняли Нюрнберг. В Нюрнберге проходили съезды предводителей гитлеровской партии, там же

родились и т.н. Нюрнбергские законы. Абзац...

Машинка стучит. Веки тяжело опускаются.

— ...Новый президент заявил, что хочет быть лишь продолжателем политики покойного президента Рузвельта. «Я никогда не соглашусь на компромиссный мир», — заявил президент Трумэн...

— Как он пишется?

— Через «э» обратное, как «эликсир красоты». Написали «президент Трумэн»? Кавычки открываются. «Фашистские преступники не уйдут от заслуженной кары, даже если бы их пришлось преследовать в самых дальних уголках мира». Хорошо сказал, а? Мы еще и не такое увидим! Ну, я кончил, теперь вы, поручик.

Я диктую:

— «Бессмертной славой покрыли себя саперы лейтенанта Пермякова, которые под ураганным огнем противника построили мост и по окончании сражения продолжали без усталости работать. К рассвету 20.IV мост был готов. Особо отличились мужеством и трудом: сапер Янушкевич Ян, сапер Гемон Петр, взводный Трёмбачевский Юлиан, капрал Плахта Мариан, сержант Криницкий Михал...»

Мы писали до поздней ночи...

*

В Шпреефурте есть дворец. Некоторые говорят, что Геринга, но у солдат всегда так: если вилла — то Геббельса, если дворец — то Геринга, если бункер — то Гитлера. Мы с поручиком Раевским, на гражданке художником, гуляем по залам этого дворца. Раевский смотрит только на стены — ему хочется прихватить с собой какую-нибудь интересную картину. Нас раздражает этот дворцовый комфорт, эти стильные мебельные гарнитуры, стулья с соблазнительно изогнутыми ножками, позолота, кружева. Ванная размером с гостиную. Я ничего не беру — как я буду с этим таскаться? — жадно смотрю на книги, на альбомы с живописью — здесь их множество. Раевский кричит из соседнего зала:

— Хелмонский!

Здесь есть Хелмонский, есть Веруш-Ковальский, Похвальский и несколько других наших. Мы вынимаем картины из рам,

сворачиваем холсты в рулоны. Отправим их генералу Сверчевскому — пусть передаст в Национальный музей.

В одном из залов пол усеян лекарствами.

Раевский нагибается и поднимает с полу рулон гигиенической бумаги.

— Будешь это с собой таскать? — спрашиваю я его.

— Да. Мне это нравится.

В коридоре, увешанном рогами и шкурами диких зверей (что за дурни!), лежит целая гора обуви, больше всего женских туфель — вышитых золотом, серебром, прошлого века. Я натываюсь на пару русских валенок, и мне становится ужасно грустно.

На прощание я забираю из дворца две ракетки и теннисный мячик. Сам не знаю зачем. Издали доносятся глухие отзвуки канонады.

Захожу в наш домик (опять другой, мы почти каждый день меняем место постоя). Майор диктует что-то Марысе — та стучит на машинке и смеется, странное какое-то настроение.

— Минуточку, господин майор, — прерывает она, — я должна почесаться.

Она чешется под грудью, в паху, у майора прямо глаза на лоб лезут. Ну, у меня тоже. Красивая девушка эта Марыся: высокая, темная блондинка, со смеющимися глазами и соблазнительными губами. Хотя теперь каждая соблазняет, черт знает почему.

Приходит поручик Вадецкий.

— Я собираюсь в 27-й на передовую. Пойдете со мной?

В 27-й я иду охотно: там аж трое парней из моей прежней солдатской группы. Владека Корнака ранило на третий день боев за Нису, поэтому теперь уже только Юзек Баран и Сташек Сова помогают Банскому в политвоспитательном секторе. Мы вчетвером идем на передовую: Вадецкий, Баран, Сова и я. Немцы обороняются на другом берегу реки Шварценшёпс. Окопы здесь не такие солидные, как на Нисе, — это уже не то. Немного земли, травы, какая-то ямка в песке, кое-как сделанный бруствер, иногда только ветки — вот наши позиции. Минометчики — те, ясное дело, окопались намного тщательней, но их больше всего и ищут. Мы ложимся на траву,

подбородками упираемся в устланный березовыми ветками бруствер. Перед нами немного травы, дальше — маленькая речушка. Вообще эти реки, с которыми столько проблем, на удивление маленькие. Немецких окопов не видно. Их огневые точки разбросаны так же, как наши. Только вот сидят гады чаще всего в бетонных, заранее подготовленных бункерах.

Баран невооруженным взглядом замечает немецкого снайпера. Показывает мне:

— Видишь, поручик, эти три березки? А теперь от этой, со сломанной веткой, на два пальца вправо — видишь?

— Ну?

— Насыпь песчаная. Это там. Сейчас покажется, сейчас... О, вон он!

Вадецкий отрывает от глаз бинокль.

— Дайте винтовку! — приказывает он Барану. Я беру бинокль. Да, теперь и я ясно вижу: высунувшаяся немецкая каска. Раз! Вадецкий выстрелил, каска исчезла.

— Спрятался, — недовольно ворчит Сова.

Вдруг что-то прожужжало возле моего уха — песок рядом с нами рассекло как бичом. Потом второй раз. Это он! Опять прикладываю к глазам бинокль: есть каска! Стрелять! Я даю Вадецкому знак рукой — выстрел! — немец опять исчезает. И опять возле нас прожужжало.

Теперь я беру винтовку. Сосредотачиваюсь, хочу попасть, жажнуть в самое основание этой каски. Стискиваю зубы, сдерживаю дыхание — выстрел!..

Остальные отрицательно качают головами: не попал! А тот снова упорно раз за разом пуляет в нас.

Теперь винтовку берет Баран. Промахивается. Теперь Сова. Промахивается. Опять Вадецкий. Поединок становится утомительным. Поединок — потому что, хотя нас несколько, стреляет всегда кто-нибудь один. Это глухое упорство, непреклонность, с которой тот отвечает на каждый выстрел, — всё это расстраивает. Я представляю себе его лицо — злое, ожесточенное, ненавидящее. Меня охватывает ужас. Я не могу с ним совладать. Я боюсь, что он взял меня на прицел. Именно меня. Я знаю, что бледен, и заставляю себя успокоиться — не прятаться позорно за чужими спинами. Не хочу бояться!

Никогда я так не боялся. Когда-то мы со Слугоцким попали под пулеметный огонь — немецкий МГ шпарил по нам как сумасшедший, но был шум, гвалт, мы не слышали самих себя, бегали и покатывались со смеху.

Сейчас стоит тишина. Поганая тишина. Ни одного взрыва, ни одной очереди — шум тополей и берез, только и всего. И лишь время от времени что-то так злобно прожужжит. Он наверняка держит меня на прицеле.

Вадецкий целится. Я удивляюсь его спокойствию. Он медленно прищуривает глаз, слегка приподнимает ствол, нажимает на спуск...

— Готов! — ревет Баран. — Готов! Готов!

— Упрямый был, — произносит Вадецкий. И добавляет: — сукин сын. Но это к делу не относится.

(...)

*

Опять солнце. Мы собираемся в близлежащий городок... менять белье. Этого добра полно в опустевших немецких домах — барахло чаще всего, но по крайней мере отпадает вопрос стирки. Ловкач Ковальский раздобыл где-то ведро спирта, однако нам не хочется пить. Пили раньше, будем пить потом, но сейчас ни у кого нет охоты.

Мы сидим за столом — Лазарский, Жух, Ясенский и я (Раевский уже пошел на передовую, в 29-й полк) — и кривимся от каких-то невероятно кислых батонов. Марыська склонилась над машинкой — сегодня она не смеется и даже не чешется. Вуйтович умер в госпитале, не приходя в сознание, а был он, как оказалось, ее женихом. Теперь понятно, почему она так часто ездила в 27-й полк.

Жух мечтает:

— Хотел бы я еще раз в жизни съесть мороженое.

И рассказывает, какое мороженое он себе купит, когда все уже кончится. Не какое-нибудь там итальянское и не с кремом, нет — просто целый стакан сливочного мороженого.

Входит майор. Мы встаем. Он показывает, чтобы мы садились. Ничего не говорит — только прохаживается по комнате. Ноги у него длинные, немного палкообразные, руки костлявые, лицо

продолговатое, суровое. Неожиданно он останавливается перед Марысей:

— Пишите приказ для подпоручика Жуха.

Жух встает, шепчет:

— Слушаю вас, гражданин майор?

— В 27-й полк, — коротко сообщает майор. — На место Банского.

Значит, Банский?..

— Вы готовы, поручик Жух?

— Так точно!

Жух надевает рюкзак, козыряет, доходит до двери, но останавливается и возвращается.

— Не попрощались? — спрашивает майор.

— Нет, не в этом дело. Тут другое. Я хочу несколько слов сказать. Можно ведь?.. Я, господин майор, человек простой. Хоть и учитель, но деревенский, из простых. И я вот что хочу сказать: я уже не молодой, помню двадцатый год. Тогда тоже говорили: идите, сражайтесь, родину защищайте. А потом, когда мы вернулись, что нам дали? Ломаный грош? Родина была, конечно, — кому как. Кто тогда сидел в тылу, тем досталось, а мы собственные пальцы обгрызали.

— Ну так что же?

— Ну, так я хочу, господин майор, чтобы теперь было не как тогда.

Майор набрасывается на Жуха сверху, с криком:

— Что за чушь вы несете!

— Я знаю, господин майор, я только так, за солдата беспокоюсь. Вот мы здесь воюем. Можно ведь? Мы здесь бьемся — правильно, надо с ними покончить, это правда. А там банда штатских грызется за должности, квартиры, мебель. А когда мы вернемся, то шиш мы получим, господин майор. Они там мороженое жрут. Да, господин майор, мороженое жрут и шелковые чулки девкам покупают. У них бабы есть, и мебель есть, и мороженое они жрут. А мы вернемся — и шиш нам будет! Вот оно как, господин майор! Вот оно как!

— Неправда!!! — майор краснеет. Он весь трясется от гнева.

Жух выпрямляется, какое-то мгновение молчит.

— Так точно, господин майор.

И, спустя несколько секунд:

— Поручик Генрик Жух по вашему приказанию отбывает на передовую, в 27-й полк.

*

На нескольких участках произошло соединение союзнических войск — у нас по-прежнему идут бои.

Берлин пал — мы всё еще воюем.

Мы уже чуем носом конец войны, веяние новой, неизвестной нам жизни — дни работы, ночи отдыха, спокойствия и наслаждения, — а тут нужно еще падать, вставать, бежать, атаковать, прятаться, погибать. Ночи у нас теперь беспокойные. К нам подошли две немецкие танковые дивизии и бьют из «ревуших коров» — на слух очень мрачное впечатление, но в итоге особых потерь не наносят. Бои сейчас утихли. Только учебный батальон под командованием майора Станицкого с самыми свежими силами овладел какой-то якобы важной высотой и изо всех сил ее защищает.

Наш боевой бюллетень стал солдатской трибуной. Солдаты сами присылают заметки. «Есть у нас такой капрал по фамилии Сливинский, так он два раза переправившись через реку, эту самую Шварцешепс, потому как хотел проверить, где эта гивермашина немецкая, чтоб ее так шандарахнуть, чтобы сам этот говнюк Гитлер не узнал, а если б я не написал, никто б об этом и не узнал, потому что такой человек скромный, и ему все равно, но надо, чтоб народ узнал, каков он из себя и как может по своей воле жизнью рисковать, чтоб солдатам было видней, куда стрелять».

Пришел капеллан дивизии и принес листок о врачах: что такой-то и такой-то с риском для жизни, а другой абы как; в конце — несколько цитат из Евангелия.

Принесли листок от поручика Хоецкого, замполита командира учебного батальона. Написано: «Товарищ, погиб наш любимый подпоручик Мариан Готовец. Сделайте обширную заметку. Стоило бы написать какие-нибудь стихи».

На следующий день приходит ко мне женщина в мундире капрала-подхорунжего. Низкая, черная, большие грустные глаза.

— Вы знаете, что погиб Мариан Готовец? — спрашивает.

— Знаю.

Мы оба стоим у окна. Женщина лезет в верхний карман кителя, расстегивает пуговицу и вытаскивает листок в клеточку.

— Это стихи о нем. Подпись: «Товарищ».

— Хоецкий? — спросил я из любопытства.

— Нет.

— Вы?

Она не ответила. Я взял у нее этот листок, прочитал и, кажется, даже скривился. Отдал ей обратно.

— Слабые.

Она беспокойно захлопала ресницами:

— Почему слабые?

— Бездарные. Этого даже исправить нельзя. Это... почти смешно.

— Когда погиб капитан Бетлей, вы напечатали стихи.

— Ну да, но те были совершенно безукоризненные.

— Эти тоже хорошие — убеждала женщина. — Солдатам понравились. Они говорили, что все, что тут написано, — правда, что я словно их мысли читаю.

Значит, это она... Внезапно я почувствовал, что у меня сжимается горло.

— Мне очень жаль. Солдаты могут в этом не разбираться. Эти стихи даже хуже, чем слабые. Они просто ребяческие.

— Ребяческие? Почему? Всё, что тут написано, — правда, господин поручик. Например, что он лежит убитый, а мы его вспоминаем, и что он «готов был кровь пролить». Это все правда.

— Ну так что же? Правда, но плохо выраженная.

— Правда, — упрямо повторила она. На мгновение мне показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Но это был только обман зрения.

Я беспомощно развел руками.

— Ведь должны же быть какие-нибудь стихи в его честь, — убеждала она. — Это был хороший боец. Напишите сами.

— Я... не знаю. Так нельзя. Я ведь даже не был с ним знаком. К тому же я не поэт.

— Мариана все любили, — сказала она внезапно. — Все. А теперь его больше нет. Значит, нужно хотя бы эти стихи...

— Я же вам говорил...

— Вы его не знали — вот вы и не верите. А мы все его любили. Как раз это здесь и написано. Солдаты сказали, что я будто их мысли читаю. Они его знали, а вы — нет, вот вы и не понимаете. А Мариан был хороший и отважный. Напечатайте это.

— Так ведь...

— Мариана все любили. Как раз это здесь и написано. Солдаты сказали, что я будто их мысли читаю.

Я молчал. В горле у меня все сжималось от боли.

— Мариана все любили...

— Хорошо, — перебил я ее. — Оставьте.

Она оставила мне листок, козырнула и вышла.

*

Лужица.

Деревня, в которой мы квартируем, называется Нови-Хуст! На перепутьях стоят статуи с надписями «Mario», «Isusie» и прочими в том же духе. Хозяин говорит, что он — «Lausitze Serbe» (немцы называют их язык «wendische sprache»), а когда я спрашиваю его, сколько километров до Бауцена, прикладывает руку к уху, несколько раз переспрашивает «so? so?» и, наконец поняв, отвечает:

— А-а-а, Будишин!

И глаголет что-то на славянский манер, из чего я делаю вывод, что до Будишина двенадцать километров. У нас немного ум заходит за разум от этого лужицкого. Нам кажется, что мы говорим с археологическими находками. Рассматриваю с капитаном Лазарским лужицкие молитвенники — всё понятно, молитвы и литании, только буквы готические.

Уже 5 мая, великолепная, зеленая, блещущая росой и солнцем весна, и немного легче на нашем участке. Две немецкие танковые дивизии («Герман Геринг» и «Бранденбург»), пытавшиеся прорваться через 2-ю армию в Берлин, вероятнее всего, отступают в сторону Судет и Австрии. Кроме того, говорят, что где-то позади блуждает второй резервный полк, так что, наверное, будет подкрепление.

От штаба генерала Сверчевского мы отрезаны, прямую связь поддерживаем только с помощью биплана.

И все же бои продолжаются. Наши солдаты теснят немцев, наступают, враг отходит и занимает новую линию обороны. Мы с завистью слушаем, как англичане хвалятся по радио, что кое-где — под Гамбургом и в Италии — целые немецкие армии добровольно слагают оружие. У нас они все еще сопротивляются.

И вот почему. Еще в последние дни войны они немало набедокурили — например, добивали штыками раненых солдат из роты поручика Ставровского. Теперь они боятся нашей ненависти. Поэтому командование решило вот что: я должен написать листовку, призывающую немцев сложить оружие, а потом Бибелькраут переведет ее на немецкий. Мы с Бибелькраутом совещаемся, что написать.

— Напишите им, — говорит старый бабник, — что мы будем поступать так же, как они.

— Не шутите.

— Я не шучу!

— Тогда из этого ничего не выйдет. Они прекрасно знают, как поступали. Надо конкретно перечислить, что им полагается: мы сохраняем вам жизнь и обеспечиваем вас продовольствием... Таким вот образом!

— Допишите: обращение по законам международной конвенции, — советует Бибелькраут. — Это красиво звучит.

— Кажется, Гагская конвенция.

— Пускай будет Гагская. И напишите, что мы гарантируем им возвращение домой сразу же после заключения мирного договора.

— Мы не имеем права им это гарантировать, — протестую я.

— Имеем. Наверняка. Так всегда делают! После договора все возвращаются домой.

Мы составили листовку, майор прочитал, сказал, что хорошая. Спросил даже, не можем ли мы привести номер какой-нибудь статьи Гагской конвенции — так, на всякий случай. Я сказал, что нет, хотя Бибелькраут упирался, чтобы сослаться на статьи 13 и 44 — кому какое дело? Мы отпечатали эту листовку в нескольких сотнях экземпляров, а биплан разбросал ее ночью на немецкой стороне.

Прошел день, полный напряженного ожидания. У союзников было уже полное торжество: города сдавались по телефону, американцы разъезжали по шоссе в виллисах, раздавали «horse meat» и создавали столовые «только для союзнических солдат», — а у нас всю шла резня. В полдень пришло известие, что погиб поручик Стогрин. На его место послали Ясенского. Янка дала ему на дорогу холодную курицу. Капитан Лазарский собирался в Берлин на парад.

Вечером в штаб привели пленного. Это был здоровый загорелый чернявый парень, красивый, молодцеватый, — жаль, что немец. Двое солдат, которые его привели, были ошеломлены своим успехом, спрашивали, будет ли про них в бюллетене, краснели от возбуждения. Немца они поймали в лесу — он шел в нашу сторону. Хотели дать ему немного по уху, на память, но шельмец начал махать какой-то бумажкой. Смотрят — наша листовка. Оказалось, что он шел к нам, хочет попасть в штаб, поговорить с кем-нибудь ответственным.

Немец веселый, бывалый, по фамилии Фухс или Шульц. Умеет ругаться по-русски, знает несколько слов по-польски, по-арабски — наскитался он с этим Гитлером (йепи йефо матш!) по всему миру (колера пшиа крефф!). Мы смотрим на него исподлобья: знаем мы вас, все вы теперь так говорите. Скажи лучше, что ты там в России и у нас вытворял. Не рассказывай небылицы, говори, в чем дело?

Они хотят сдаться. Вся рота. Возьмут в плен офицеров, как здесь написано (немец старательно читает соответствующий абзац листовки), только откуда им знать, не пустые ли это обещания.

Начальник штаба отвечает более или менее так:

— Оттуда знать, что мы можем воевать и дальше и прикончить вас всех до единого.

— Если вы подтвердите, что я здесь был, — говорит немец, — и пустите меня обратно, то это будет знак, что всё «ernts», и я приведу вам всю роту.

— С оружием?

— С оружием.

— Ладно. Дайте ему такую справку, — это начальник говорит Бибелькрауту. — Gut? — спрашивает он немца.

— Ja, bitte, — отвечает тот.

Договариваются так: завтра в пять утра наши ждут их у леска. Они приходят в полном вооружении и походным строем, с оружием на плече направляются в штаб. Наш конвой идет рядом с ними с двух сторон, цепочкой, с пальцами на спуске.

— Петь можно? — спрашивает еще немец.

Кто-то из наших ворчит: «Я тебе попою!» Подполковник Бобовский окидывает немца тяжелым взглядом и выцеживает:

— Нет. Нельзя... Кругом!

Бибелькраут повторяет по-немецки:

— Los!

Все молчат. Посмотрим, что из этого выйдет.

Утром 7 мая радио сообщает: Прага освобождена, Ганс Франк пойман, командование союзников приняло безоговорочную капитуляцию немцев. Завтра в Берлине должно пройти подписание акта о капитуляции. С нашего участка: «Рядовой артиллерии Юзеф Юнашко огнем из трофейного ручного пулемета защитил свое орудие во время контратаки неприятеля. Он бил по врагу с расстояния 30 метров. Благодаря героическим действиям нашего артиллериста вражеская вылазка была отражена. Враг потерял полтора десятка человек убитыми».

Когда я это писал, Бибелькраут заметил:

— Слышите? Топают! Какой-то новый отрядец?

Вдруг нас осенило: это они! Мы выбежали на улицу. Они шли! Шли ровным шагом, в ногу, с оружием, небрежно переброшенным через плечо. Лица у них были веселые, они смеялись и кричали:

— Ende!

— Nach Heimat!

— Kaput!

Тот, что шел впереди, наш вчерашний гость, по-немецки скомандовал остановиться. Затем приказал им сдавать оружие. Они с грохотом бросали винтовки и автоматы, более осторожно обходились с панцерфаустами. Теперь командование принял наш конвой:

— А ну, сидеть, сидеть! Alle sitzen! Всё на землю! Хватит, повоевали!

Немцы садились, упирались руками в землю, пытались завязать разговор:

— Ende, kamerade!! Wollen Sie Zigarette, Genossen?

Наши раздражались, грозили:

— Придержи язык! Stille!

— Я тебе не kamerade, сволочь!

— Ende, kaput, — беззаботно говорили немцы.

— Вы нам за всё заплатите! — кричал какой-то могучий капрал, поправляя фуражку, съехавшую ему на затылок. — Мы вам теперь покажем! Ремни из вас будем резать! Мерзавец, так твою! Раньше безобразил, а теперь kamerade хочет быть! Если бы тебе начальство не обещало, я б тебе так врезал!... Так бы тебе врезал!...

Капрал сжал огромный кулак и грозно помахал им. Пленные оробели.

В этот день на нашем участке мир еще не настал. Наоборот, нам как раз прислали танки, чтобы мы могли перейти в генеральное наступление. Немцы отходили с боями. Еще 8 мая погиб Ясенский, и Янка рыдая бросилась на кровать. Лишь ночью с 9 на 10 мая фронт рухнул. Немецкие солдаты бросили оружие и просто-напросто разошлись. Мы ловили их по квартирам — они шли без сопротивления. Большинство,

воевавшее в эсэсовских дивизиях, убежало в Судеты. Они надеялись сдать там союзникам, но, кажется, просчитались. Впрочем, мы уже знали, что есть приказ преследовать их.

Мир застал нас в Бишофсверде (лужицкой Бискупице) — опустевшем красивом городке на границе Судет и Саксонии. Было темно, электростанция не работала. На рыночной площади напротив старинной церкви горело трехэтажное здание. Из него в темноту взвивались красные снопы искр, озаряя наши лица. Ночь была теплая, пахнувшая дымом и весной. Мы бродили по городку счастливые и возбужденные, пьяные от мира и тишины.

1. Слова, выделенные курсивом, — по-русски в тексте. — *Пер.*

Даниэль Ольбрыхский

БЫТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ

Дорогие друзья!

В Москву я приехал впервые, когда мне было 20 лет. С Беатой Тышкевич и Анджеем Вайдой мы представляли его фильм «Пепел». И было это 20 лет спустя после окончания войны. Поскольку мы празднуем сейчас 65 ю годовщину победы над фашизмом, скрыть не получится: и мне исполнилось 65.

Я всегда обращался к вам: «Друзья», — потому что у меня было и есть здесь очень много друзей. К сожалению, многих из них, таких как Смоктуновский, Высоцкий, Окуджава, уже нет среди нас. Жаль, а то бы они увидели, как мемориальные мероприятия в Катыни, катастрофа польского президентского самолета, приобщение миллионов россиян к фильму Анджея Вайды «Катынь» высвободили у вас и у нас что-то необыкновенно прекрасное и благородное.

Реакция ваших властей и простых людей вселяют в меня веру, что я имею право вслед за нашим великим поэтом XIX века Адамом Мицкевичем говорить вам «друзья» от имени миллионов поляков.

Эта пробуждающаяся к жизни весна, несмотря на смоленскую трагедию, весна, про которую я думал, как и Анджеем Вайда, что никогда не дождусь, позволяет мне призвать: не упустим момента, когда у наших народов появилась возможность быть ближе друг к другу, чем когда-либо в истории.

Считаю для себя честью быть среди вас, но скажу бесстыдно: приглашая меня сюда, вы были правы.

27 февраля 1945 г., когда я появился на свет, война еще шла, но уже к западу от моего места рождения. Не могу сказать, что я был младенцем-ветераном. В то же время отношу на свой счет участие в Варшавском восстании. Я пережил его — не знаю, каким чудом, — с 1 августа 1944 г. целые 63 дня во чреве моей матери.

Ровно 30 лет спустя Владимир Высоцкий ехал с Мариной Влади через Варшаву в Париж. По дороге они собирались остановиться у меня. Варшава на полпути. Володя остановил свою машину перед мостом через Вислу. Уселся на берегу, как рассказывала

потом Марина. Долго смотрел на возрожденный после полного разрушения во время восстания Старый Город. И, вероятно, увидел его глазами русских солдат — пламенеющий в 44-м году. Глазами, как это сказано у него, танков, которые получили приказ остановить атаку, пока Варшава не истечет кровью и не будет истреблена до конца. Там же, на берегу, он уже начал что-то писать. Через полчаса они были у меня. Володя прочитал нам стихотворение «Дороги... Дороги», которое заканчивается так:

В моем мозгу, который вдруг сдавило

Как обручем, — но так его, дави! —

Варшавское восстание кровило,

Захлебываясь в собственной крови...

Дрались — худо, бедно ли,

А наши корпуса —

В пригороде медлили

Целых два часа.

В марш-бросок, в атаку ли —

Рвались, как один, —

И танкисты плакали

На броню машин...

Военный эпизод — давно преданье,

В историю ушел, порос быльем, —

Но не забыто это опозданье,

Коль скоро мы заспорили о нем.

Почему же медлили

Наши корпуса?

Почему обедали

Эти два часа?

Потому что танками,

Мокрыми от слез,
Англичанам с янками
Мы утерли нос!
А может быть, разведка оплошала —
Не доложила?.. Что теперь гадать!
Но вот сейчас читаю я: «Варшава» —
И еду, и хочу не опоздать!

Потом он приезжал в Варшаву еще не раз. Мы виделись в Париже, в Москве. Размышляли над тем, почему нам так трудно праздновать общий День Победы. Мы оба знали, что мешает этому мерзкая политика.

И вы, русские, и мы, поляки, любили и любим его песни. Потому что в них — бунт. Бунт против нашей общей действительности после войны. Против другого тоталитарного чудовища, которое выжило. Против бесчеловечности сталинского тоталитаризма.

Вайда, отца которого поглотила катынская трагедия, я, деда которого, командира Армии Крайовой в Подлесье, несколько месяцев спустя после войны расстреляло НКВД, миллионы поляков дождались этих вселяющих надежду на будущее минут. Володя, к сожалению, не дождался. А ведь он только на семь лет старше меня.

Спустя 40 дней после смерти моего русского брата я был на его свежей могиле. 2 сентября 1980 года. В Польше за два дня до этого Валенса подписал «августовское соглашение» с властью. В Польше начал разваливаться режим. А Володя не мог этого увидеть. Я же видел, как вокруг Ваганьковского кладбища пламенели костры. Из поломанных гитар, которые крушила и поджигала молодежь. Вернувшись в Варшаву, написал вот такое стихотворение:

Под грохот злой гитары
Нам Вера сердце рвет,
И хрип Надежды старой
По струнам нервов бьет.
Но, как всегда, безвестен

В грязи дорожный след.
И душен мир, и тесен —
Всё не так, братишка, нет...
Под крик твоей погони
Свои нас мучат сны.
Гордо мчимся — волки, кони,
А вокруг все те же псы!
Их свора с диким лаем
Нас хочет разогнать.
Волки, волки, наши стаи
Не пора ль соединять?
С волчьей нашей земли
Щерим свои клыки —
Не будем бить гитары
— Склейте гитары и вы!

(Пер. Андрея Базилевского)

А теперь вот что. Мне 65 лет. А в 65-ю годовщину Победы в параде на Красной площади впервые на моей памяти будут маршировать польские солдаты. Впервые ваш премьер-министр, причем в Катыни, подчеркнул вклад польских воинов в победу над фашизмом. От Берлинга и до Андерса. И тех, кто был в Армии Крайовой. А значит, и парней моего деда. Польские солдаты промаршируют здесь через несколько дней. Знаю, вы примете их сердечно. Так же, как сердечно сумели ласково обнять нас, поляков, в эту нашу тяжелую весну.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «На борту правительственного Ту-154, летевшего в субботу утром 10 апреля в Смоленск, находились важнейшие лица страны. Они направлялись на мероприятия, посвященные 70 й годовщине катынского преступления. Около 9 утра Польшу облетела немыслимая весть о том, что самолет разбился. В нем находились 96 человек (...) В катастрофе не выжил никто». («Метро», 11 апр.)

• Из обращения к народу и.о. президента, маршала Сейма Бронислава Коморовского: «Польша скорбит (...) Погиб президент Республики Польша Лех Качинский с супругой, погибли вице-маршалы Сейма и Сената, министры, депутаты и сенаторы, генералы и епископы. Они погибли, неся государственную службу во имя нашего общего блага — во имя Польши (...) Статья 131 конституции возлагает на маршала Сейма обязанность обеспечить непрерывность президентской власти. Исполняя этот долг, я объявил недельный национальный траур (...) Моя обязанность состоит также в том, чтобы в течение двух недель назначить дату выборов президента (...) Я намерен сделать это после консультации со всеми парламентскими фракциями» («Метро», 11 апр.)

• «Согласно опросу ЦИОМа, Бронислав Коморовский — политик, которому поляки доверяют больше всего (57%)». («Жечпосполита», 1 апр.)

• «Нам не грозит паралич власти. У премьер-министра и министров ничего не меняется, они должны по-прежнему исполнять свои обязанности. В свою очередь в институтах, потерявших своих руководителей: Польском национальном банке, Институте национальной памяти, Бюро уполномоченного по правам человека, — есть заместители, которые временно осуществляют управление», — проф. Петр Винчорек, конституционалист. («Метро», 11 апр.)

• «Армия готова к такого рода крупным трагедиям и кризисным ситуациям. Рычаги управления переходят к заместителям. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы маршал Сейма незамедлительно назначил нового начальника Генерального штаба», — генерал проф. Станислав Козей,

бывший замминистра национальной обороны. («Метро», 11 апр.)

• «У главного входа в польское посольство в Москве на ул. Климашкина растет гора цветов. Люди приносят букеты белых и красных гвоздик или роз. Зажигают свечи (...) Государственное телевидение показало нечто доселе невиданное: президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, молящихся вместе (...) за жертв катастрофы в Смоленске (...) Премьер-министр обещал, что тела убитых будут перевезены в Москву для опознания в кратчайшие сроки. Семьи жертв получают российские визы безотлагательно и бесплатно (...) Полное обеспечение семей во время пребывания в Москве (транспорт и гостиницы) берут на себя власти российской столицы. Президент же пообещал, что эксперты с польской стороны будут принимать участие в следствии на равных правах с российскими специалистами. Президент в эмоциональном обращении к, как он выразился, „нашим друзьям, гражданам Республики Польша” заявил, что „в понедельник 12 апреля в России будет объявлен национальный траур”». (Вацлав Радзивинович, «Газета wyborча», 11 апр.)

• «Туск и Путин возложили цветы на месте катастрофы. Потом они долго разговаривали (...) Путин записал специальное обращение к полякам. „Это прежде всего трагедия Польши, польского народа, но это и наша трагедия. Мы скорбим вместе с вами, мы переживаем вместе с вами”, — сказал российский премьер-министр (...) Материалы российских телеканалов на эту тему выдержаны в духе сочувствия и понимания. Подчеркиваются заслуги президента Леха Качинского в деле победы демократии в Польше, его подпольная деятельность. Тактично умалчивается о том, что для Москвы он был не самым легким партнером. Главные телеканалы приводят список жертв, передают траурную музыку и показывают много материалов из Варшавы». (Мартин Войцеховский, «Газета wyborча», 11 апр.)

• «Сегодня Россия плачет вместе с нами. В России происходят вещи, на которые поляки смотрят с удивлением. Премьер-министр Путин осуждает в Катини советское преступление, вместе с Дональдом Туском склоняет голову над могилами жертв. После катастрофы к польскому народу обращается Дмитрий Медведев и — беспрецедентное явление — объявляет национальный траур в связи со смертью граждан другой страны. Наконец, премьер Путин лично едет на место катастрофы, возглавляет специальную комиссию, дружески

обнимает Туска. А на следующий день еще раз прилетает в Смоленск, чтобы проводить гроб польского президента. Российское телевидение показывает в прайм-тайме фильм Анджея Вайды „Катынь”, больно ранящий российскую совесть. Польское посольство в Москве утопает в цветах (...) Если наши два народа не простят друг друга в такую минуту, то простят ли вообще?» (Ярослав Курский, «Газета wyborcza», 12 апр.)

• «Доброжелательны местные власти (...) Сочувствуют простые люди. Цветочницы (...) Православное духовенство (...) Люди по зову сердца приезжают в смоленский аэропорт „Северный”, чтобы возложить цветы. Вежливые и сочувствующие милиционеры, сотрудники кремлевской охраны, сопровождающие Путина (...) Трагедия в Смоленске — это беспрецедентный шанс на соединение наших народов. Без принуждения и притворства, как это часто случалось в польско-российской истории (...) Поведение россиян после трагедии в Смоленске полностью опровергает мнение тех, кто утверждает, что сближение Польши и России невозможно (...) Я не знаю, что будет. Но пока, под влиянием того, что я видел в Смоленске, и того, как ведут себя власти в Москве, мне хочется от всего сердца сказать: спасибо вам за это, россияне». (Мартин Войцеховский, «Газета wyborcza», 12 апр.)

• «„Нас собрала сегодня здесь общая память и скорбь”, — так Владимир Путин начал свою речь 7 апреля. До этого он возложил венок, зажег свечу и преклонил колени перед алтарем у могил польских офицеров. В Катынском лесу царило молчание. В следующее мгновение зазвучал польский гимн (...) Некоторые российские комментаторы признавались, что никогда не видели Путина столь растроганным, почти на грани слез». («Газета wyborcza», 8 апр.)

• Из выступления российского премьер-министра Владимира Путина: «В этой земле лежат советские граждане, сгоревшие в огне сталинских репрессий тридцатых годов; польские офицеры, расстрелянные по тайному приказу; бойцы Красной Армии, казнённые нацистами (...) Нашему народу, который прошел через ужасы гражданской войны, насильственную коллективизацию, через массовые репрессии 1930-х годов очень хорошо понятно, может быть, лучше, чем кому бы то ни было, что значат для многих польских семей Катынь, Медное, Пятихатка. Потому что в этом скорбном ряду и места массовых расстрелов советских граждан. Это и Бутовский полигон под Москвой, Секирная гора на Соловках, расстрельные рвы Магадана и Воркуты, безымянные могилы Норильска и

Беломорканала (...) И потому сегодня мы здесь вместе. Здесь, в Катини». (По материалам ПАП)

• Из выступления польского премьер-министра Дональда Туска: «Всегда, когда мы слышали правду о Катини, даже если она произносилась шепотом, мы знали, что не побеждены (...) В каком-то смысле мы, поляки, — одна катынская семья (...) Господин премьер-министр, ведь они здесь, они лежат в этой земле. Глазницы их простреленных черепов смотрят и ждут, сможем ли мы перековать насилие и ложь в примирение. Мы должны поверить, что выбрали правильное направление, что нашли простой и короткий путь, потому что на пути к примирению мы поставили два указателя: память и правду. Если это так, если так будет в будущем, то, воины из Катини, думаю, это будет самая большая ваша победа». (по материалам ПАП)

• «Мой отец, капитан Якуб Вайда, пал жертвой катынского преступления (...) Закончив свою речь, Путин сошел с трибуны и, ничего не говоря, пожал мне руку. Я с радостью ответил на это рукопожатие. То, что он сказал, наверняка стоило ему усилий (...) Многие были удивлены, что этот человек так резко раскритиковал советский режим», — Анджей Вайда, режиссер фильма «Катынь». («Жечпосполита», 8 апр.)

• Савва, православный митрополит Варшавский и всея Польши: «Читая молитву за души убиенных польских офицеров, я смотрел на сидящего напротив меня Путина. Я видел, что он был очень растроган. Его жест в адрес Польши не был заученным (...) Для нас, польских православных, эти торжества имеют особое измерение. Ведь жертвой катынского преступления пали многие наши единоверцы». («Жечпосполита», 8 апр.)

• Михаэль Шудрих, главный раввин Польши: «Я был глубоко взволнован (...) Довоенная Польша была многонациональной страной (...) В катынских лесах закопаны рядом поляки, белорусы, украинцы, а также евреи (...) Все эти люди, исповедующие разные религии, носили мундиры Войска Польского и были патриотами Польши (...) Около 10% жертв катынского преступления были по происхождению евреями». («Жечпосполита», 8 апр.)

• «Несколько часов спустя после мероприятий, на пресс-конференции, Путин сказал: „Полагаю, повторяю, это лично мое мнение, что Сталин (...) совершил этот расстрел, исходя из чувства мести [за 1920 год]”». («Польша», 8 апр.)

- В Смоленске Туск с Путиным приняли участие во встрече польско-российской Группы по трудным вопросам, а затем провели беседу с глазу на глаз и пообедали. Они говорили, в частности, о новом газовом контракте и сотрудничестве в области атомной энергетики. Туск пригласил российского премьер-министра в Польшу, и, по его словам, это приглашение было принято. («Газета выборча», «Польска», 8 апр.)

- «Для польского общественного мнения вчерашние мероприятия в Катыни носили исключительный характер. Впервые российский лидер почтил память польских офицеров на месте их казни. Само его присутствие было для нас столь важно, что мало кто в Польше рассчитывал еще на какие-либо жесты или слова». (Анджей Годлевский, «Польска», 8 апр.)

- «Российские телеканалы не вели прямой трансляции из Катыни, но в телевизионных новостях были показаны кадры с мероприятия (...) Было ясно сказано о польских офицерах и о том, что они погибли от рук НКВД. Подчеркивались высказывания Путина о польско-российском примирении (...) Столь положительного свидетельства о Польше в России не было давно». (Дмитрий Бабич, «Газета выборча», 8 апр.)

- Российский ответ Европейскому суду по правам человека в Страсбурге (фрагменты документа): «В ходе расследования оказалось невозможным определить обстоятельства захвата польских граждан и их содержания под стражей в лагерях НКВД СССР, характер предъявленных им обвинений и то, была ли доказана их вина. Оказалось невозможным получить информацию относительно выполнения решения по расстрелу конкретных лиц (...) Кроме того, „катынские“ события не были признаны каким-либо компетентным национальным или международным судом преступлением, преследование за совершение которого не ограничено сроками давности (...) Достоверно не установлено, что родственники заявителей погибли в результате совершения преступления». Ответ подписан Григорием Матюшкиным, представителем Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. («Жечпосполита», 3-5 апр.)

- Анатолий Яблоков, бывший российский военный прокурор, расследовавший дело о катынском преступлении: «Опираясь на устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, я пришел к заключению, что политики, приговорившие к смерти поляков: Сталин, Берия, Ворошилов, Молотов, Калинин, Микоян и Каганович, — виновны в нарушении пунктов а, б и с статьи 6 устава, т.е. в геноциде, преступлении

против мира и военном преступлении. Руководителей НКВД, которые подписывали полякам приговоры (...) и непосредственных организаторов и исполнителей убийства я признал военными преступниками и убийцами (...) Мы, расследовавшие катынское дело, нашли доказательства, подтверждавшие, что политбюро сталинской коммунистической партии приказало уничтожить взятых в плен поляков, чтобы навсегда обеспечить СССР контроль над территорией, захваченной в результате агрессии против Польши. У нас были документы, подтверждающие, что весной 1940 г. в Катыни, Калинин и Харькове произошел акт геноцида». («Газета выборча, 7 апр.)

- «Генерал Александр Третецкий был первым прокурором Главной военной прокуратуры СССР, который в 1990 г. вел следствие по катынскому делу. Эксгумацию могил в Медном он контролировал лично, ни на минуту не отлучаясь (...) „Мы выполнили свою работу, доказали, что это было преступление НКВД, и я не желаю слушать вздор, будто это сделали фашисты”». («Жечпосполита», 27–28 апр.)

- «Убийство в апреле–мае 1940 г. 14 522 польских военнопленных из козельского, старобельского и осташковского лагерей в управлениях НКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей, а также 7305 заключенных из следственных изоляторов НКВД в Западной Белоруссии и Западной Украине (...) было тяжелейшим преступлением против мира, против человечества, а также военным преступлением, ответственность за которое должны понести: Сталин, Молотов и другие члены Политбюро ЦК ВКП(б), принявшие решение о массовой ликвидации невинных людей; Берия, Меркулов, Кобулов, Баштаков, Сопруненко, а также другие функционеры НКВД СССР, НКВД УССР и НКВД БССР (...) Москва, 2 августа 1993 г., подписи: Борис Топорнин, директор Института государства и права РАН; Александр Яковлев, заведующий сектором уголовного права и криминологии ИГП РАН, Инесса Яжборовская, научный руководитель Института сравнительной политологии РАН; Валентина Парсаданова, историк, Институт Славяноведения и балканистики РАН; Юрий Зоря, доцент кафедры специальных дисциплин Военной академии Советской армии; Лев Беляев, старший эксперт отдела экспертиз судебной медицины Центральной лаборатории Судебной медицины Министерства обороны Российской Федерации». («Газета выборча», 3–5 апр.)

- «Фильм „Катынь” Анджея Вайды был впервые показан российским государственным телевидением (...) До сих пор в

России (...) „Катынь” показали немногим более 20 кинотеатров на всю страну (...) Участники дискуссии, состоявшейся после показа фильма, были единодушны во мнении, что „Катынь” — не антироссийский, а антитоталитарный фильм». («Польска», 3-5 апр.)

• «Канал „Культура” пользуется минимальной популярностью (...) Показ фильма Вайды на канале „Культура” не будет обращен к массовому зрителю. Другое дело, если бы он был показан в прайм-тайме на канале НТВ. Но, по моему мнению, на это нет никаких шансов. Жаль, ведь россиянам стоит увидеть, что это не русофобская картина (...) Демонстрация фильма на „Культуре» — это, с одной стороны, проявление рационализма, а с другой — нечто, не имеющее переломного характера (...) Конечно, [участие Путина в катынских мероприятиях] — это само по себе серьезное политическое событие. Видимо, Путину зачем-то поляки сейчас нужны», — Владимир Прибыловский, директор Научно-исследовательского центра «Панорама», биограф Владимира Путина. («Дзенник — Газета правна», 2-5 апр.)

• «В сегодняшней нестабильной международной обстановке Россия решила расширить круг своих возможностей во внешней политике. А Польша оказывает всё большее влияние на политику Евросоюза», — Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». («Газета wyborcza», 9 апр.)

• «Министр канцелярии Президента Владислав Стасяк сообщил, что посол России Владимир Гринин нанес ему визит, в ходе которого пригласил президента Леха Качинского на торжества, которые пройдут 9 мая в Москве». («Жечпосполита», 24 марта)

• «Директор административного отдела канцелярии президента России Владимир Козин упомянул 86 летнего генерала Войцеха Ярузельского в эксклюзивном списке девяти бывших глав государств, которые воевали на фронтах II мировой войны в Европе. Все они были приглашены на торжества по случаю 9 мая в столице России». («Жечпосполита», 29 марта)

• «63% поляков считают, что генерал Войцех Ярузельский должен войти в число лиц, представляющих Польшу на торжествах в Москве. 69% считают, что президент Лех Качинский должен взять генерала Ярузельского с собой в самолет (...) 52% считают генерала положительной фигурой в истории Польши. Принимая во внимание многолетнюю компанию против генерала Ярузельского (...) этот результат на

удивление позитивен. Мало кто из действующих политиков (...) пользуется столь же серьезной общественной поддержкой». («Пшеглэнд», 11 апр.)

• «Если президент Лех Качинский полетит в Москву на празднование годовщины победы над Третьим Рейхом, он пригласит в свой самолет бывшего президента генерала Войцеха Ярузельского. Министр Павел Выпых из канцелярии президента сказал, что хотя Лех Качинский критически оценивает деятельность Ярузельского в период ПНР, он всё же помнит, что Ярузельский воевал во II Мировой войне и был демократически избранным президентом Польши». («Тыгодник повшехный», 11 апр.)

• «9 мая на Красной площади пройдут торжества, посвященные 65 й годовщине победы Советского Союза над Третьим Рейхом (...) Сама идея, что почетная рота Войска Польского (...) должна участвовать в этом параде, мне, мягко говоря, непонятна (...) В торжествах примут участие армейские роты из США, Великобритании и Франции, а правительства этих стран не протестуют. Но это плохое сравнение (...) Что-то не припомню, чтобы офицерский состав этих государств был уничтожен НКВД выстрелом в затылок». (Петр Зыхович, «Жечпосполита», 29 марта)

• «Я не решился бы возлагать вину на народ, который сам пал жертвой. Поэтому я бы совсем не удивился, если бы премьер-министр Российской Федерации представил дело так: мы должны относиться к Катыни как к месту общего болезненного прошлого (...) Я не решился бы вваливать на русский народ моральную ответственность за преступления, совершенные НКВД», — Анджей Кунерт, автор книги «Катынь. Уцелевшая память». («Польска», 7 апр.)

• «Российский исторический нарратив — это нарратив эклектичный, сводящий воедино Ленина, Деникина и Красную армию. Нам этого не изменить, особенно жестами, приносящими вред нашим реальным интересам». (Пётр Сквецинский, «Жечпосполита», 30 марта)

• «По данным широкомасштабного опроса Кшиштофа Малицкого, социолога из Жешувского университета, II Мировая война интересует молодых поляков больше, чем история ПНР или последнее двадцатилетие (...) В опросе принимало участие более 5 тыс. учащихся средних школ (...) Почти 70% из них отвечают, что во время II Мировой войны наибольший ущерб полякам нанесли немцы. Лишь 15% опрошенных назвали русских (...) В ответ на вопрос о месте, которое символизирует

самое большое страдание поляков, ученики указывают прежде всего Аушвиц (44%), затем Катынь (32%) (...) „Аушвиц стал символом всех нацистских преступлений, — считает директор музея II Мировой войны доктор Петр Маевский. — Точно так же под Катынью часто понимаются все преступления против поляков на восточных окраинах”». («Жечпосполита», 7 апр.)

• «Вчера министры иностранных дел Радослав Сикорский и Сергей Лавров направили на имя главы дипломатического ведомства ЕС Кэтрин Эштон совместное письмо с призывом охватить польско-российским договором о малом приграничном безвизовом движении всю Калининградскую область. Европейское постановление от 2006 г. ограничивает ширину приграничной полосы, жители которой могут переходить границу на основании разрешений, а не виз, до 30 км. В исключительных случаях эту зону можно расширить до 50 км. Протяженность Калининградской области с севера на юг составляет более 100 км». («Газета выборча», 7 апр.)

• «Проф. Гжегож Колодко получил в Москве присужденную ему Российским государственным торгово-экономическим университетом (РГТЭУ) премию им. Рыкова, присуждаемую иностранным ученым за научные достижения в области экономики». («Пшеглэнд», 21 марта)

• «Согласно опросу ЦИОМа, проведенному в феврале, замедление экономики не оказало отрицательного влияния на финансовое положение польских семей (...) Кризис не приостановил всё более быстрого обогащения поляков (...) Автоматические стиральные машины имеет 91% поляков, а девять лет назад их имели 70%. Мобильными телефонами пользуются 84% опрошенных, а 11% утверждают, что не хотят их покупать. Десять лет назад мобильный телефон был лишь у каждого восьмого поляка (...) У более чем половины поляков есть дома стационарный компьютер, у стольких же — Интернет. Каждый третий опрошенный может похвастаться ноутбуком. Всё больше поляков имеют телевизоры и цифровые аппараты высшего класса (...) 16% утверждают, что время от времени у них не хватает денег на еду, у 18% — на квартплату и счета за электричество (...) Число семей, утверждающих, что у них есть финансовые проблемы, всё-таки падает».

(«Жечпосполита», 7 апр.)

• «90% польских яиц — результат промышленного разведения кур. В помещении, в поставленных одна на другую клетках, теснится несколько тысяч кур. Лысые, израненные, никогда не видящие дневного света. К „производству” яиц их принуждают, в частности, при помощи метода, называемого

„принудительной линькой”: на какое-то время кур лишают света, еды, воды, в результате чего у них выпадают остатки перьев. Когда свет снова включается, дается корм и вода, наступает резкая регенерация и рост „яйценоскости”. Курица, с которой обращаются таким образом, сносит 300 яиц, но живет лишь около двух лет (а могла бы полтора десятка). В Польше таким образом обращаются приблизительно с 40 миллионами кур. Такое производство — это еще и ликвидация непригодных кур. Польская организация „OTOZ Animals” сняла свалку куриной фермы под Лемборком, на которую в мороз выбрасывались непригодные птенцы, погибавшие затем от холода и голода». (Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 2 апр.)

• «Польские управленческие кадры — это финансовая аристократия, причем не только в местном масштабе; подсчет покупательной способности наших кадров дает Польше 11 е место в международном рейтинге. Далеко позади остались такие страны как США (30 е место), Германия (36 е) или Франция (47 е) (...) По уровню расслоения доходов Польша — средняя страна (...) Шкала охватывает диапазон от нуля (полный эгалитаризм) до 100 (крайнее расслоение). Средняя по ЕС составляет 30, показатель же Польши — 32 (...) Сравнение доходов 20% самых богатых с доходами такой же группы самых бедных тоже ставит Польшу на уровень средней по ЕС: доходы самых богатых у нас в 5,3 раза больше, чем самых бедных (...) Лишь 3,3% польских домашних хозяйств живут ниже уровня бедности — это на 4% меньше, чем в 2007 году. Но субъективное ощущение жизни в бедности присутствует в каждом втором хозяйстве, и этот показатель не снижается (...) Наши ожидания растут быстрее, чем возможности их осуществления». (Адам Гжещак, «Политика», 10 апр.)

• «Более 90% крупнейших польских производственных фирм присутствуют на внешних рынках (...) За последние 15 лет объем прямых инвестиций польских фирм за границей вырос почти в шесть раз. 88% фирм, присутствующих на иностранных рынках, экспортируют свои продукты, 55% сотрудничают с иностранными партнерами, а 23% имеют свои филиалы за границей (...) Главный регион экспансии — Западная Европа (88%), затем Центральная Европа и Балканы (71%), а также Восточная Европа (61%)». («Жечпосполита», 1 апр.)

• «Когда меня задержали, мне было 45 лет, и я успешно делал карьеру. Я был депутатом, человеком, известным в обществе, председателем Ремесленной палаты, заместителем директора банка — через две недели у меня был шанс стать его

директором. За несколько дней я потерял всё. Мне было предъявлено два обвинения: в платном покровительстве и в получении взятки в размере 2 тыс. злотых за помощь в аренде помещения (...) Прокуратура поверила человеку, который отсиживал срок (...) На выявление правды ушло 12 лет. Это прервало мою профессиональную и политическую карьеру, меня стали избегать (...) Через 12 лет суд не нашел оснований для предъявления обвинений (...) Мои адвокаты подсчитали, что сумма, которую я заработал бы, продолжая занимать свою должность, составила бы 16 млн. злотых — если не считать потери доброго имени и морального ущерба (...) Процесс по делу о возмещения убытков должен вскоре закончиться», — Ян Памула. («Газета wyborcza», 2 апр.)

• «За пять лет обанкротилась треть маленьких магазинов (...) Магазинов площадью менее 40 кв.м сейчас чуть больше 50 тысяч. Еще пять лет назад их было почти 74 тысячи! Только за последний год их число уменьшилось на одну десятую (...) Дисконтные магазины — самый большой хищник среди торговцев (...) В прошлом году их общий доход (...) составил 19,6 млрд. злотых. Через четыре года он составит уже около 30 миллиардов». («Газета wyborcza», 30 марта)

• «В начале эпохи Третьей Речи Посполитой администрация требовала от предприятий получения 384 разрешений, позволений, допусков, лицензий и концессий. За последние 20 лет число всех регламентаций возросло до 684 (...) В 1989 г. разрешение было необходимо для 135 видов хозяйственной деятельности, в 2007 г. — уже для 215 ти (...) В то же самое время почти удвоилось (с 53 до 103) число т.н. допусков продукции, изделий и услуг. В 1989 г. ограничения касались лишь производства табака, в 2007 г. число лимитов выросло до 20 ти, в том числе на производство сахара, крахмала и молока. В т.н. разрешениях на профессиональную деятельность нуждались представители 96 профессий, в 2007 г. — уже 140. (...) Регистрировать необходимо было четыре вида хозяйственной деятельности, в настоящее время — уже 52 (...) Уменьшилось лишь число видов деятельности, требующей получения концессии, — с 54 до 33». (Войцех Маркевич, «Политика», 13 марта)

• «Открытый университет при Варшавском университете приглашает на дискуссию „Почему мы глупеем — ограничивает ли развитие цивилизации мышление?“ (...) Начало в 17.30 в бывшей Библиотеке Варшавского университета на ул. Краковское предместье, 26/28». («Газета wyborcza», 25 марта)

• Среди 100 тыс. польских охотников есть множество известных имен, в т.ч. маршал Сейма Бронислав Коморовский, архиепископ Славой Лешек Глудзь, бывшие министры охраны окружающей среды Станислав Желиховский и Ян Шишко, вице-премьер Вальдемар Павляк, бывший премьер-министр Влодзимеж Цимошевич, министр иностранных дел Радослав Сикорский и бывший министр иностранных дел Дариуш Росати. В 2001–2005 гг. на охоту ходили 70–80 депутатов и сенаторов. В нынешнем парламенте охотится около ста человек. («Ньюсуик-Польша», 14 марта)

• «20 лет назад в Польше жило около 3 млн. зайцев. Сегодня — меньше 500 тысяч. В 1990 г. в нашей стране жило около миллиона куропаток. Сегодня их меньше 300 тысяч». («Политика», 27 марта)

• «В 1990 г. в Польше насчитывалось 60 тыс. лис. По прошлогодним подсчетам, их оказалось 200 тысяч (...) Охоту на лис охотники считают неприятной обязанностью (...) Лиса — очень умное животное, и его трудно провести». («Тыгодник повшехный», 4 апр.)

• «В текущем году польские предприятия собираются принять на работу до 200 тыс. сотрудников с Востока [т.е. с Украины, из Белоруссии и России — Ред.]. Это рекорд (...) До 23 марта консульство во Львове выдало уже почти 20 тыс. виз с правом на работу в Польше». («Дзенник — Газета правна», 30 марта)

• Восточные соседи могут работать на территории Польши без разрешения шесть месяцев в году на основании обычных заявлений, подаваемых в поветовые службы занятости. В 2009 г. было зарегистрировано 189,3 тыс. таких заявлений — в шесть раз больше, чем год назад. Почти 96 % заявлений подали украинцы. («Жечпосполита», 9 марта)

• «Всё больше немцев из северо-восточных приграничных регионов приезжает в Польшу в поисках работы. В Щецине и регионе Поморья работает около 2500 немцев (...) В Польше немцы находят работу в строительной отрасли, а также, например, в телефонных центрах и в Щецинском порту». («Впрост», 4–11 апр.)

• «Согласно опросу ЦИОМа, всё меньше поляков ощущает угрозу со стороны Германии и России. В 1990 г. немцев опасались 88% поляков — сегодня лишь 14%. России опасаются сегодня 50% поляков — на 17% меньше, чем пять лет назад». («Впрост», 21 марта)

- «В прошлом году эмигранты прислали в Польшу 8,8 млрд. долларов. В этом отношении мы занимаем 11 е место в мире». («Жечпосполита», 2 апр.)

- С 2004 г. (т.е. со времени вступления Польши в ЕС) из страны эмигрировало 2 млн. поляков, в основном молодых, из них 700 тысяч — в Великобританию. 70% из этих двух миллионов находятся за границей больше года и уже стали резидентами стран, в которых проживают. Вернулись 60 тыс. человек, в т.ч. 40 тысяч — из Великобритании. Польша — крупнейший экспортер рабочей силы в Европе. В Америке ту же роль играет Мексика, а в Азии — Китай». («Газета wyborча», 9 марта)

- «Показатель детности колеблется в Польше в районе 1,3 (...) Отчет „Евростата” предостерегает, что в 2060 г. в Польше будет наблюдаться самый высокий в ЕС процент людей старше 65 лет — 36,2% (в настоящий момент 13,5%). (...) Налицо близорукость подхода к миграционной политике (...) В ходу доктрина, основанная на страхе перед притоком чужаков и непреодолимом желанием защитить этническую и культурную однородность Польши (...) По демографическим причинам для польской миграционной политики не существует иного пути, кроме как принять иммигрантов и открыться к ним», — проф. Кристина Иглицкая, эксперт Центра международных отношений. («Ньюсуик-Польша», 11 апр.)

- «Одну из крупнейших нелегально работающих профессиональных групп в Польше составляют няни (...) Мы, вероятно, не осознавали бы этого факта, если бы не интернет-порталы для родителей и ищущих работу женщин. На самом крупном из них www.niania.pl зарегистрировалось более 140 тыс. нянь и 60 тыс. родителей (...) Более половины нянь работают „на полную ставку”, т.е. договариваются о постоянной неофициальной зарплате. А она — в зависимости от величины города — составляет 500-1700 злотых. Няня с высокой квалификацией, знанием языков, собственной машиной (...) может заработать 3-4 тыс. злотых (...) Украинки (...) работают по 8-10 часов в день, зарабатывая 10-35 зл. в час. По подсчетам, их не менее ста тысяч». (Пётр Стасяк, «Политика», 3 апр.)

- «Польша получила одобрение Совета Европы за стратегию, которой следовала во время эпидемии свиного гриппа. Мы были одним из немногих государств, не поддавшихся давлению фармацевтических концернов и Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ). Мы не закупили прививок против вируса А/Н1N1 (...) Клинические тесты этих прививок не были закончены, а сами производители не были в состоянии определить правила дозировок (...) Франция заказала 94 млн.

прививок за 860 млн. евро. Они залеживаются на складах».
(«Дзенник — Газета правна», 30 марта)

• «В сфере утилизации коммунальных отходов Польша находится в хвосте ЕС. Больше всего мусора мы складировем на свалках (94%), вместо того чтобы сжигать его на профессиональных безопасных мусоросжигательных заводах. Уровень полученной из мусора энергии у нас самый низкий (6%). В Германии (...) лишь 20% отходов попадает на свалку (...) В Швеции — всего 4%». («Ньюсуик-Польша», 11 апр.)

• «Большой успех польской дипломатии (...) Вчера комиссия по промышленности Европарламента почти единогласно приняла проект нового постановления, касающегося энергетической безопасности ЕС (...) Постановление гарантирует, что в случае объявления энергетического кризиса члены ЕС будут обязаны предоставить свои газохранилища странам, пострадавшим вследствие проблем с поставками сырья. Постановление требует строительства соответствующей промышленной инфраструктуры, например газовых сообщений». («Дзенник — Газета правна», 19 марта)

• Депутат Европарламента Марек Мигальский («Право и справедливость»): «В вербальной сфере мы, по сравнению с американской или британской демократией, очень мягки (...) Но в остальном мы действуем намного жестче (...) Наиболее ожесточенная борьба ведется внутри отдельных политических лагерей. Там говорится прямо: „я тебя уничтожу“, „сгною“, „зае...“, „считай, что ты труп“. Так обращаются друг к другу коллеги во всех, буквально во всех кругах (...) Политические кулуары полны необъяснимых и трагических историй людей, которые запутались в играх, где ставкой были миллионные прибыли (...) В общем-то политики прощают друг другу очень многое. Ложь, предательство, мошенничество. Потому что у всех одно правило — игра без правил». («Польска», 26 марта)

• «Согласно опросу ЦИОМа, 18% респондентов уверены в том, что Сейм работает хорошо, 70% придерживаются противоположного мнения». («Впрост», 4-11 апр.)

• «Продажа алкогольных напитков в гостинице „Депутатская“ запрещена. Об этом сообщило пресс-бюро канцелярии Сейма». («Впрост», 4-11 апр.)

• «Вот уже два десятилетия мы наблюдаем засилье хамства — в основном в отношениях между людьми, но также и в культуре. В знак протеста я в какой-то момент выбросил телевизор. С тех пор как я поселился в Египте, у меня снова появился телевизор,

но там телевидение другое. Конечно, оно бывает глупым, но там нет порнографии и той ужасной агрессии, которую здесь трудно переносить», — Петр Ибрагим Хальвас, прозаик, вот уже два года живет в Александрии. («Жечпосполита», 27–28 марта)

- «Ремень, провод от утюга, кулак — в прошлом году было изранено 3,3 тыс. детей (...) Четырехлетний Филип в Хелме (...), трехмесячный младенец в Щецине (...), четырехмесячный в Варшаве (...) В 2008 г. (...) таких случаев было 2,5 тысячи. В прошлом году их было уже более 3,3 тысячи. (...) Случаев издевательства над детьми значительно больше, чем зафиксировано в статистике». («Жечпосполита», 20–21 марта)

- «Побитый пёс, заморенная голодом кошка, отравленные птицы. Их мучители чувствуют себя безнаказанными, потому что полиция относится к сообщениям о страдающих животных как к делам менее важным (...) „Вот уже много лет я борюсь за то, чтобы в полиции был создан специальный отдел по защите животных, над которыми издеваются“, — говорит Эва Навальны, председатель Общества защиты животных в Лодзи». («Польска», 6 апр.)

- «Семеро детей, оставленных в „Окне жизни“ на ул. Хожей [в Варшаве] уже обрели новые семьи (...) Это инициатива варшавского архиепископства и монашеского ордена (...) За стеклом стоит младенческая кроватка с цветным одеяльцем, в которое можно укутать малыша. Достаточно приоткрыть окошко и положить ребенка (...) Сестры сразу же вызывают скорую, и малыш едет в больницу на врачебный осмотр. Потом его направляют в центр усыновления (...) Звонок у дежурных сестер раздавался в разное время дня (...) Рядом с детьми они находили только записки с датами рождения. Мама Паулилки написала еще, от чего она была привита (...) Малыши с Хожей ждали усыновления около шести недель. Новые родители знают, что ребенка нашли в „Окне жизни“ (...) Драматичнее всего ситуация детей, которые не могут пребывать в собственных семьях и не могут быть усыновлены. А таких в детских домах больше 80%». (Моника Гурецкая-Чурилло, Агнешка Гротек, «Газета wyborcza», 2 апр.)

- «Школа для избранных под патронатом „Опус Деи“ (...) „Проект“, как называют свое образовательное начинание члены Общества поддержки образования „Кормчий“, объединил 500 семей и более тысячи детей. Центры Общества действуют с 1 сентября 2004 г. (...) Многие создатели „Кормчего“ были членами „Опус Деи“ и руководствовались словами его основателя св. Хосемарии Эскривы. „Открывайте

для своих детей школы, — говорил он, — они станут продолжением дома, в котором царит дух службы, сотрудничества, щедрости и единства”. (...) Самое важное — воспитание, образование на втором месте. (...) Уровень обучения в центрах „Кормчего” один из самых высоких в стране (...) По правилам, эти школы не осуществляют совместного обучения (...) Идеальными считаются классы по 28–30 человек (...) Каждый, кто посылает туда своего ребенка, должен выкупить пай в размере нескольких сот тысяч злотых. Однако сумма определяется индивидуально, и люди с более низкими заработками платят меньше. В результате 60% более богатых школьников финансируют учебу 40% более бедных». (Мира Суходольская, «Польска», 18 марта)

• «После 1989 г. Церковь в Польше взяла курс на отвоевание утраченных позиций, добилась возвращения отобранной коммунистами недвижимости, в школы вернулся Закон Божий. Священники находятся сегодня на государственных должностях не только в школах, полиции и армии, но даже в таможенной службе. Епископы освящают публичные здания, банки и мосты (...) В приходских церквях на воскресной мессе молодежи кот наплакал, и хотя крещение и первое причастие детей остается повсеместной традицией, во многих кругах весьма проблематично найти достойных кандидатов на крестных родителей». (Цезарий Гаврысь, «Жечпосполита», 1 апр.)

• Окружной суд в Щецине отклонил иск Леслава Мацеевского из Свиноустья, который требовал убрать распятия со стен городской управы, так как, по его мнению, присутствие религиозных символов в государственном учреждении нарушает принцип мировоззренческой нейтральности. Мацеевского «вдохновило» на это решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который (...) постановил, что распятие в государственной школе нарушает свободу вероисповедания, а также слова одного из публицистов о том, что в Польше не найдется такого идиота, который рискнет подать в суд против распятий. Мацеевский (...) решил рискнуть. Сначала он потребовал от президента Свиноустья снять распятия, а когда тот отказался, подал заявление в прокуратуру. Та тоже отказала. Остался только судебный иск. Лишь пятый юрист согласился его представлять». («Политика», 3 апр.)

• Число семинаристов в семинариях не превышает четырех тысяч. В 2009 г. их было 3732, в 2008 г. — 4029, в 2007 г. — 4257, в 2006 г. — 4612». («Польска», 1 апр.)

• «Епископы убеждены, что Церковь вновь становится объектом нападок. Церковные иерархи говорили на Пасху об ограничении свободы вероисповедания, устранении распятий, искаженном образе священника (...) „Государство становится партийным. На первом месте не государственность, не забота о государстве, народе, патриотизме, о здоровье нации, а забота об интересах собственной партии”, — говорил архиепископ Юзеф Михалик, председатель Епископата Польши». («Жечпосполита», 6 апр.)

• «Сегодня в Польше существует множество памятников Иоанну Павлу II (...) Но не будем обманываться. По прошествии пяти лет после смерти Папы-поляка Церковь в Польше отходит от заветов Иоанна Павла II. Происходит нечто, что я когда-то назвал ползучей девойтылизацией (...) От Папы осталась борьба с коммунизмом, забота о национальной самобытности и святости жизни. Другие ключевые темы понтификата Войтылы: экуменизм, диалог с другими религиями и неверующими, интерес к миру, неприятие войны — не находят поддержки в главном русле нынешнего католицизма». (Адам Шосткевич, «Политика», 10 апр.)

• «Нас считают обществом ортодоксально религиозным, между тем средний поляк — приверженец смертной казни, аборт и эвтаназии, то есть он ставит под сомнение догматы Церкви», — проф. Збигнев Либера, Ягеллонский университет. («Впрост», 4-11 апр.)

• «Несколько сот человек протестовало в Варшаве против постройки мечети — храм для более чем 10 тыс. приверженцев ислама должен появиться в районе Охота». («Тыгодник повшехный», 4 апр.)

• «До сих пор в Польше было только три мечети: в Подлесье — в Крушинянах и Бохониках, построенные 100 и 200 лет назад, — а также в Гданьске, отданная в эксплуатацию в 1990 году. В Варшаве есть только молитвенный зал (...) Он рассчитан на сто-двести человек (...) В Варшаве живет около 10 тыс. мусульман (...) Общепольские подсчеты (...) колеблются между 15 и 30 тысячами (...) Одна из самых старых групп — татары, уже не один век живущие в Польше. В основном именно они входят в состав существующего с 1925 г. и объединяющего около 5 тыс. членов Мусульманского религиозного союза (...) Недавно турки основали в рамках МРС собственную мусульманскую общину. Мечеть в Варшаве строит Мусульманская лига Польши (...) Она была зарегистрирована в 2003 году. (...) Как члены Лиги, так и члены МРС — сунниты, представители самого крупного течения в исламе. Однако Лига (...) объединяет прежде всего

приезжих мусульман арабского происхождения», — Агата Сковрон-Нальборчик, младший научный сотрудник Варшавского университета, генеральный секретарь Совместного совета католиков и мусульман. («Газета wyborcza», 12 марта)

• «Протест против постройки мечети в Варшаве непонятен и необъясним. Подогревание антиарабских настроений ничем не отличается от разжигания антисемитизма (...) „Б'най Б'рит Полин“, общество польских евреев, обращается к протестующим варшавянам, людям, воспитанным в духе терпимости и любви к ближнему, с призывом не приписывать всем мусульманам фундаментализм определенной части приверженцев ислама (...) От имени „Б'най Б'рит Полин“ — председатель Ярослав Щепанский». («Газета wyborcza», 30 марта)

• «Если бы в Гданьске ворам отрезали несколько пар рук, может, стало бы лучше», — сказал гданьский имам во время дебатов в Университете им. кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. («Польска», 19 марта)

• «Краковский суд приговорил к лишению свободы от 1,5 до 2,5 лет трех мужчин, укравших историческую надпись „Arbeit macht frei“, венчавшую ворота концлагеря Аушвиц (...) Под арестом все еще находятся два других поляка, замешанных в воровство». («Газета wyborcza», 19 марта)

• «В пятницу швед Андерс Хёгстрём, подозреваемый в том, что он заказал кражу надписи из Аушвица, был перевезен в Краков (...) из Швеции». («Жечпосполита», 10–11 апр.)

• «За издевательство над лошадьми англичанин Стивен Дрю был приговорен к году тюремного заключения. Окружной суд в Кельце усугубил наказание: в первой инстанции он получил год тюрьмы условно с отсрочкой на 5 лет». («Газета wyborcza», 1 апр.)

• «По профессии я проектировщик зеленых насаждений (...) У меня 54 кошки и пёс Пендзелек (...) Я живу в большом доме — 300 кв.м, в котором размещается моя квартира, гостевые комнаты и стометровое помещение для кошек, с вольером, огороженным решеткой и накрытым сеткой (...) Я приютил и вылечил множество кошек, многие остались у меня жить. Всех их я содержу и лечу на собственные средства, что составляет около 1000 злотых в месяц (...) Я хотел бы создать нечто большее, чем просто дом для моих кошек. Фонд, а может, даже приют для кошек (...) Кому-то я кажусь странным и

непонятным (...) Доминик Голембский из Ченстоховы». («Кошачьи дела», апрель)

• «Варс и Сава, самая известная варшавская пара соколов, живущих на 45 м этаже Дворца культуры и науки, ожидают потомства. Самка снесла четыре яйца и примерно через месяц появятся на свет птенцы (...) За семьей соколов можно наблюдать благодаря системе камер в гнезде, доступным на сайте www.webcam.peregrinus.pl». («Польска», 29 марта)

• «30 лет назад в столице насчитывалось 50 тысяч пар воробьев. Сейчас их почти на 40% меньше (...) Новые дома — это в основном металл и стекло (...) Мусор запакован в целлофановые пакеты (...) Город нашпигован передатчиками телефонных сетей, вырабатывающих электрическое поле. Воробьи, вероятнее всего, избегают его (...) Исчезает птица, которая сопровождала нас тысячелетиями». («Газета выборча», 20–21 марта)

• «Вырубка деревьев — это не только физическое уничтожение дупел, но и вытеснение жителей леса во всё менее подходящую для них природную среду (...) Так мы поступаем с жителями Беловежской пуши. Обратись к министру охраны окружающей среды проф. Анджею Крашевскому (biuro.ministra@mos.gov.pl) с призывом приостановить вырубку пуши в период гнездования птиц, т.е. с 1 марта по 31 августа. Отправь мне копию: adam.wajrak@gazeta.pl». («Газета выборча», 30 марта)

• «Мы непрерывно преобразовываем мир (...) Думаю, было бы неплохо, если бы человек перестал быть столь ненасытным в стремлении завладеть миром. Мы могли бы немного подвинуться, чтобы освободить место для других, — как птицы, которые организуются так, чтобы в естественной среде нашлось место для каждого вида», — Анджей Крушевич, орнитолог, директор варшавского зоопарка, основатель Приюта для птиц. («Тыгодник повшехный», 21 марта)

Владыка МИРОН (Ходаковский)

Архиепископ Гайновский Мирон (Мирослав Ходаковский), возглавлял пастырское окормление православных польской армии (в должности православного военно-полевого ординария) с 1998 г., был в звании дивизионного генерала. «Искренний польский патриот», — сказал о нем премьер-министр Дональд Туск на церемонии встречи гробов с телами жертв катастрофы.

Он родился 21 октября 1957 г. в Белостоке, где окончил неполную среднюю школу. После этого учился в Варшавской православной духовной семинарии и в Высшей православной духовной семинарии (ВПДС) в Яблэчной (Люблинское воеводство).

Рукоположен в 1979 году. С 1981 г. был наместником монастыря св. Онуфрия в Яблэчной и проректором ВПДС. В 1989 г., когда возобновил свою деятельность Супрасльский Благовещенский монастырь, он был назначен его настоятелем и возглавлял его вплоть до посвящения в сан епископа Гайновского.

В 2003 г. владыка получил степень кандидата богословия Варшавской христианской богословской академии. В 2008 г. стал архиепископом.

Глава Польской автокефальной православной Церкви митрополит Савва, вспоминая владыку Мирона, подчеркнул, что православный иерарх погиб под Смоленском в 70 ю годовщину гибели на той же земле тогдашнего православного ординария польской армии Симона (Федоренко). «Прошли эти 70 лет, и погиб следующий», — сказал митрополит.

Владыку Мирона вспоминают как великого церковного строителя. Еще в 1984 г. он прибыл из Яблэчной в Супрасль, где был тогда единственным монахом, и ему была поручена организация работы по восстановлению монастыря. Со строительными материалами дело обстояло тяжело, и архимандрит проявил «необычайный организаторский талант». Он потрудился также над восстановлением духовной, монашеской жизни в Супрасле.

Там, в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, архиепископ Мирон и был похоронен 19 апреля после отпевания, совершенного в Варшаве.

(По сообщению ПАП)

АНДЖЕЙ КРЕМЕР

«С необычайным талантом и самоотверженностью трудился он на благо добрых отношений между Польшей и ее соседями, в особенности Россией. Человек необычайной доброты и необычайной компетентности, выдающийся дипломат», — сказал о нем премьер-министр Дональд Туск 15 апреля на церемонии встречи гробов с телами жертв катастрофы.

Анджей Кремер родился в 1961 году. Выпускник краковского Ягеллонского университета, кандидат юридических наук, он с 1999 г. был адъюнктом на кафедре римского права Ягеллонского университета. Сейчас он готовил докторскую диссертацию — закончить ее уже не успел.

Кремер свободно владел немецким, итальянским и русским языками. В кабинете Дональда Туска он отвечал за восточную политику. Был одним из авторов программы «Восточного партнерства», целью которой было сделать более тесными отношения между Евросоюзом и его восточными соседями: Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной. Недавно, когда активистов Союза поляков в Белоруссии затронули репрессии, Кремер предостерег, что если репрессии не прекратятся, то Белоруссию ждет «самоизоляция от Европы».

Друзья вспоминают Анджея Кремера как сердечного и необычайно трудолюбивого человека. Он страстно увлекался историей, интересовался спортом, отлично готовил. С женой Марией и тремя сыновьями они были любящей, сплоченной семьей.

— Анджей был золотой человек, из таких, что создают закваску МИДа, — сказал министр иностранных дел Радослав Сикорский. — Под его контролем были отношения с восточными соседями, консульская служба и договорно-правовые вопросы. Ему, вместе с моим предшественником министром Ротфельдом, мы обязаны сближением в польско-российских отношениях. И недавней встречей премьер-министров Туска и Путина в Катыни. Там же он и погиб.

22 апреля Анджей Кремер должен был открыть фестиваль польских кинофильмов в Москве.

— Он только пошучивал, что сначала ему придется «дважды пережить Катынь», потому что два раза подряд побывать в Катыни — опыт нелегкий, — вспоминает директор фестиваля польских кинофильмов в Москве Малгожата Шляговская-Скульская.

(По сообщению ПАП)

ЗЛА В ЛЮДЯХ, МОЖЕТ, И НЕТ...

Анна Валентинович — пани Аня — еще при жизни стала легендой польской «Солидарности». Скажем больше: если бы не она — дата крушения коммунизма могла бы отодвинуться. В помещенной ниже ее знаменитой беседе с Ханной Краль она об этом не говорит («...вы уж наверно сами знаете, так что нет смысла повторять»). Знают, к сожалению, не все. Дело было так. На четвертый день забастовки на Гданьской судовой верфи все требования бастующих (повышение зарплаты и возвращение на работу уволенных) были удовлетворены. «Я помню, — вспоминает пани Аня в своей книге «Тень будущего», — как Лех Валенса покрикивал на людей, что забастовка окончена и чтобы они шли по домам. То же повторяли заводские репродукторы. Тогда меня остановил морской офицер Тадеуш Щудловский: „Вы свои дела уладили, а как же те, кто вас поддерживал? Ведь их теперь раздавят“. Тогда мы с Алиной Пеньковской побежали в зал техники безопасности, чтобы по радио призвать людей остаться, но оно было уже выключено, так что мы побежали к проходной №3. Нам удалось закрыть эту проходную, а потом еще две. Я боялась, что уже слишком поздно. Из 16 тысяч бастующих осталось 300 человек. Возле проходной №2 стоял Валенса на аккумуляторной тележке. Я его оттуда стащила. Когда он увидел, что люди возвращаются, то попросил, чтобы ему позволили дальше руководить забастовкой». Эту историю подтверждает множество свидетелей, в том числе и рапорт ГБ: «Валенса однозначно заявил, что цели забастовки он считает достигнутыми. Тогда Борусевич и Валентинович, а также Казимеж Шолох с группой лиц решили продолжать забастовку, упрекая Валенсу в предательстве».

Вероятно, именно тогда зародился конфликт Анны Валентинович с Валенсой, ставший впоследствии ее навязчивой идеей. Харизматический Лех Валенса всячески старался отодвинуть ее на задний план (что ему довольно быстро удалось), а безграничная доброта пани Ани на этот единственный случай не распространялась. Она считала, что человек, ставший во главе «Солидарности», должен быть «рыцарем без страха и упрека». А Валенса таким не был. Следы этого конфликта видны до сегодняшнего дня: 3 мая 2006 г. президент Лех Качинский вручил пани Ане орден Белого Орла, а премьер Дональд Туск в своем выступлении 4 июня 2009 г.

среди имен героических женщин «Солидарности» даже не упомянул Анну Валентинович...

В январе 1981 г. я приехал в Гданьск, чтобы задать пани Ане глупейший вопрос. Дело в том, что уже тогда я решил составить и издать книгу, «которая позволила бы русскоязычным читателям познакомиться с подлинными документами материалами, чтобы он мог сам, а не под влиянием газет, телевидения или досужих вымыслов, узнать о том, как начиналась „Солидарность”». В книжку я хотел включить и только что опубликованную беседу с пани Аней — тоже своего рода документ и, быть может, наиболее близкий русскому читателю: судьбы миллионов советских женщин были слишком похожи на судьбу пани Ани... Она сидела в маленькой комнатке, и сама была маленькая и энергичная, чем-то похожая на Наташу Горбаневскую или польскую диссидентку Нину Карсов (которая потом и издала эту книжку в лондонском издательстве OPI). Я рассказал об этом проекте и спросил, не повредит ли это «Солидарности». Все-таки издательство эмигрантское, с непонятными источниками финансирования... Пани Аня рассмеялась: «Если нам что и повредит, то уж ваша книжка в последнюю очередь! А вообще я буду очень рада, если это получится. Я ведь сама родилась на востоке, на Украине, и тамошние люди мне не чужие...»

Добавлю лишь, что эта беседа почти тридцатилетней давности была перепечатана в «Газете выборчей» 19 апреля 2010 г., через 10 дней после смерти пани Ани. Да будет ей земля пухом!

Александр Бондарев

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — на вопрос о том, как все началось:

(Нужно, чтобы мы знали всё с самого начала, и тогда, может, сумеем понять, что произошло. А именно: что произошло 14 августа 1980 года, в двенадцать часов с минутами, когда при входе на Гданьскую судоверфь Анна Валентинович увидела стоящих в воротах и ждущих ее женщин с цветами, и услышала, как какие-то люди просят ее подняться на экскаватор и сказать несколько слов).

Мне пятьдесят один год, родилась я [в городе Ровно] на Волыни.

У меня были мать, отец и брат. Когда началась война, отец пошел на фронт, брата забрали и вывезли^[1], а мать умерла от сердечной болезни. Меня приютили чужие люди. Вернувшись в Польшу, я начала ходить по деревням и наниматься на работу: летом — на жатве, осенью — продавать кухонные ножи,

которые мои хозяева делали из старых кос. А зимой хозяева самогон гнали, и я ночью следила, чтобы котел не разнесло, а днем носила на спине мешок с бутылками — на продажу. В обмен на ножи и самогон мне давали муку, картошку и керосин, которые я носила обратно к моим хозяевам.

Приехали мы в Гданьск. Хозяева получили от ЮНРРы^[2]

кобылу и корову, паничи в школу пошли, а я должна была хозяйством заняться. Я-то в школу не ходила, разве что до войны, тогда я четыре класса кончила, хоть в бумагах и пишу, что семь. Нужно было анкету заполнить, чтоб на курсы сварщиков поступить, и я написала, что четыре, а товарищ один говорит: «Что ты, Аня! переделай на семерку». Из четверки совсем нетрудно семерочку сделать, ну, так и осталось, хоть по правде я уж никогда потом и не училась, разве что на курсах для неграмотных на верфи да на курсах сварщиков.

Хозяева мои богатели, у них уже и лошади были, и свиньи, и жеребята, пять коров и куры, и они уже работников себе нанимали. Я вставала в четыре утра, чтоб всю живность накормить и приготовить завтрак для работников, а в семь шла в поле работать и коров пасти, возвращалась в семь вечера, доила коров, шла с серпом и тележкой за крапивой для свиней, через соломорезку ее прокручивала, потом в двенадцать ложилась, а в четыре вставала скотину кормить.

Я все это не к тому говорю, чтоб винить кого-то, а чтоб в точности все передать, как оно было.

Однажды заметили мы в кустах перед домом — там самшит рос — какую-то могилку. Решили ее на кладбище перенести, и я начала уже копать, но это не могилка была, а коробка закопанная. Я ее открыла — а там золотые часы, брошки и колечки, а одно особенно красивое было, как змея трижды обвившаяся, с глазом голубым, — но тут хозяйка прибежала, всё к себе в подол ссыпала и унесла.

В сочельник поставили мне на кухне тарелку и принесли облатку для причастия. Я не хотела одна сидеть, и пошла к лошадям, и поделилась своей облаткой с кобылой Злоткой. Уж такая была это кобыла красивая, в приводе по кругу ходила как артистка, не шагала, а танцевала прямо, мышцы все напряжены — вот, так! — и после двух кругов уже вспотеет вся, такая была нежная да деликатная. Я ей пожелала к Рождеству что положено, а она заржала — если такие вещи не нужны, так

вы вычеркните потом, я говорю только, чтоб всё в точности было, вы ведь сами спрашивали.

В середине лета решила я отправиться куда глаза глядят. Шла, шла да и заснула, дальше иду и думаю, что делать. Лучше всего было б жизни себя лишить, но как? Хозяева мои из павшей скотины мыло делали, и я видела, как едкий натр быстро растворяет все-все косточки. Хорошо было б немного этого натра раздобыть, да где? Так я себя жизни не лишила и дальше пошла.

Попала я в пекарню, да так и осталась, потому что стояли там целые корзины с белыми булками, и представьте себе только, что могла я их есть сколько хотела. Как будто так и надо — булки лежат, а я беру и ем. Никто не говорит, что брать нельзя, я и беру — и ем сколько захочется.

Сколько я добрых людей в своей жизни встретила! И тех, что позволили мне белые булки есть, и тех, что задаром полуподвал отдали под жилье, и тех, что печку подарили, чтобы я ее в полуподвал поставила (если что отморозишь, то лучше такой печки не придумаешь, только нужно сначала намазать тело керосином, а потом греть на открытом огне, пока керосин не испарится), но важнее всех был один человек, который сказал: что ты тут сидишь? На верфь иди, получишь специальность и станешь человеком.

Я тогда всю ночь не спала. Молюсь Матери Божьей Остробрамской, а сердце в груди так и бьется: только бы приняли меня на эту верфь, только бы приняли. Но Матерь Божья меня услышала, и в ноябре 1950 года приняли меня на курсы сварщиков. Восьмого ноября, чтоб совсем точно было, вот тут печать стоит, а рядом — другая, восьмого августа 1980 года, об увольнении. Тридцать лет — совпадение какое, правда?

Год спустя мой снимок в первый раз появился в газете, в статье «Наши передовики», и с того времени появлялся все чаще и чаще — перед Фестивалем молодежи в Берлине, по случаю Конгресса профсоюзов (мы тогда втроем поехали — Солдек, Голомбек и я — как делегаты от нашей верфи), а еще на Доске почета, что на площади. Я там в комбинезоне стою, во время работы, в одной руке держу маску, а в другой — сварочную горелку. Рядом со мной стоит Вишневская Ядвига — двести сорок процентов нормы, и Секула Эмилия — двести десять процентов. У меня были самые высокие показатели — двести семьдесят процентов нормы. Доска почета стояла перед дирекцией, а над ней красной краской было написано

«ПЕРЕДОВЫЕ СВАРЩИЦЫ ИЗ БРИГАДЫ ИМ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ».

Самым важным событием в те годы был Фестиваль молодежи в Берлине в 1951 году. Сначала мы провели две недели в подготовительном лагере, где нас учили разным вещам: как ходить строевым шагом, уметь петь хором «Эй, вы кони, вы кони стальные», а также отвечать на вопросы агентов империализма. Самое главное — это нельзя было дать себя уговорить остаться, а лучше всего было держаться своей группы и ни на чьи вопросы не отвечать вообще. Помню, один молодой шахтер из Силезии сказал тогда: если б ко мне подошел империалистический провокатор, откуда мне знать, как бы я тогда себя повел? В ответ на что поднялся товарищ из Ольштына, высокий такой блондин, и сказал: если уж сейчас товарищ не знает, как бы он себя повел, то что ж тогда будет в Берлине? И шахтеру пришлось написать заявление, что он неважно себя чувствует со здоровьем, и вернуться к себе в Силезию.

Что до меня, то я сидела тише воды, ниже травы, и повторяла сама про себя, что уж я-то наверняка ни перед каким провокатором даже рта не раскрою.

18 августа у нас в Берлине было первое посещение выставки, чешской. Мы ходили по ней по двое, а при выходе глядим: нет нашего товарища из Ольштына, того высокого, что не был уверен, как поведет себя шахтер. Устраиваем перекличку, считаемся — нету. Идем к себе, где нас разместили, никому ни с кем разговаривать нельзя, а с чужими и подавно... Ну и с тех пор каждый день убывало по одному, по два делегата, только уже без переклички и пересчитывания. Нам только строго-настрого запретили рассказывать, когда вернемся, что произошло, а если кто спросит, то говорить, что, мол, вражеская пропаганда.

Я об этом фестивале так подробно рассказываю, потому что это было важное событие в моей жизни: впервые я сама столкнулась с ложью, и впервые моя организация велела мне обманывать других.

7 сентября 1952 года родился мой сын. Об отце его рассказывать не буду, потому что не стоит: еще перед свадьбой он показал свое истинное лицо, и я решила не выходить замуж.

Жила я с моим ребеночком какое-то время в доме матери и ребенка, а потом написала письмо Болеславу Беруту, и мне дали квартиру. Вот это и есть та самая квартира, на улице

Грюнвальдской, комната и кухня, 53 квадратных метра, летом вся насквозь солнцем просвечивается.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *в ответ на мое замечание, что ее история — это биография образцового рабочего, как Ванды Гостиминской, или Апрыаса, или братьев Бугдол, — при этом, однако, никто из этих людей не стал во главе забастовки. Можно ли вообще указать какой-то определенный день, какое-то событие, которое мы могли бы считать началом того пути, который привел ее к воротам Гданьской судоверфи 14 августа 1980 года?*

В коллективе нашего цеха я была представительницей Лиги женщин. Раз в неделю мы собирались и распределяли премии и взыскания. Каждый выдвигал на премии «своих людей», и, когда дело доходило до моих женщин, денег уже не было. Я протестовала и говорила, что это несправедливо.

Как-то раз нам выделили три тысячи злотых. Мы собирались их разделить между десятью рабочими, каждому по триста, но оказалось, что денег уже нет: их получили трое членов комитета, каждый по тысяче. Впрочем, двое из них, как люди говорили, всё равно были вынуждены отдать эти деньги председателю комитета, который постоянно покупал лотерейные билеты и никак не мог выиграть. Я тогда публично заявила, в первый раз, что у нас забирают деньги, которые полагаются рабочим. На другой день мастер шепотом сообщил мне: пани Аня, звонили насчет вас и велели явиться... если вы оттуда не вернетесь, как быть с ребенком?

Меня спрашивали, не слушаю ли я зарубежные радиостанции. Я сказала, чтобы они не прикидывались и что дело вовсе не в радио, а во вчерашнем заседании. На работу я вернулась через несколько часов. Вы думаете, что это можно считать началом?

(Нет, наверное, нет. Подобных историй с премиями, заседаний и допросов были тысячи, только вот люди, которых вызывали «на беседу», обычно потом переставали выступать на собраниях, а Анна Валентинович по-прежнему продолжала говорить об обидах и несправедливости.)

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос, не боялась ли она.*

В 1964 году я вышла замуж. А год спустя заболела раком.

После операции меня облучали радиометом сто четыре часа, а когда я выходила из больницы, то врач сказал, что у меня еще в лучшем случае пять лет жизни.

Срок, который мне назначили врачи, кончился в 1970 году. Сразу же после этого разразились декабрьские события — этот вопль, это слепое отчаяние, с которым люди вышли на улицы.

Я подумала: пять лет прошло, а я живу. Если Господь Бог даровал мне жизнь, то ведь, верно, для того, чтобы я как-то по-умному с ней поступила. И раздумывала: что бы это такое могло быть.

Я знала, что в одиночку мне с большой неправдой не совладать, так что начала я с мелких дел. Собрала я у людей в цеху карточки на молоко, за которым они ходить должны были в дальнюю столовую, принесла из дому кастрюлю, кипятила это молоко и разносила всем по рабочим местам. То же самое и с супом: уговорила я с одним человеком, который мне суп в цех привозил, разогревала, а как все поели — мыла посуду. Не за счет работы, конечно, а во время перерывов.

Пришел ко мне мастер и говорит, что я на публику работаю и что рабочие должны ходить в столовую. Отнесла я посуду обратно и снова раздумывала: что делать. Перед цехом был участок земли, я его вскопала и засеяла цветочками, но тут приходит мастер и говорит: «Что, нейметса себя показатъ, да?» — Я ничего такого, пан мастер, не хочу, — отвечаю, — хочу только, чтоб цветочки росли, — но он снова запретил, и больше я садик не разводила.

Скучала я. На кране у меня работы было на четыре часа, не больше (я на кран перешла после операции), цветочки сажать нельзя, суп разогревать тоже нельзя, так я сижу наверху и вяжу на спицах. Как-то раз слышу — тишина внизу. Подаю сигнал, гляжу — товарищ по цеху пишет мне на полу: ЗАБАСТОВКА. Я бегом вниз, а там уже толпа стоит, и директор объясняет, что премии разделяются так, как постановил премьер. Я кричу: ведь премьер обещал нам, что систему распределения мы сами разработаем. Как я это крикнула, люди и говорят мне: иди к микрофону! Повторила я снова о премиях, но добавила еще, чтобы сейчас мы все шли работать, а дирекция сообщит нам, что она решила. Люди снова пошли работать, — и только в тот день, 20 мая 1971 года, руководство обратило на меня внимание. Не то, что я людей бастовать звала, а что работать — люди-то меня послушались! Не уговоров начальника, не дирекции, а именно меня — это и заставило мое начальство призадуматься.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — на вопрос — повторный — о том, не боялась ли она.

В октябре 1971 года умер мой муж, а сын пошел служить в армию. Десятого похороны были, а двадцать пятого сын уехал — осталась я одна.

Чего же мне было бояться, раз я одна осталась?

За мужа бояться не приходилось, потому как самое страшное уже случилось.

За сына тоже, потому что он уже взрослый был.

За себя тоже нет, потому что я знала, что Бог даровал мне жизнь, хоть всё еще и не понимала в точности — почему. Так чего же бояться? Нет, страх тут у меня не присутствовал.

К тому же все время у меня занимали работа, кладбище, да поездки к сыну в Устку. Под каждое Рождество брала я в одну руку сумку с могильными лампадками, а в другую — всякую снедь для сына, вначале шла на могилку к мужу и зажигала свечи, а потом ехала к сыну. На могиле я говорила: «Вот, Казик, как оно всё получается. У всех сегодня близкие вместе с ними, а вы оба каждый в своем мире, и не могу я добраться до вас одновременно. Так и кружу, как космонавт, между вашими мирами — разве это справедливо?»

Крест своему мужу я своими руками сделала. Сама его сварила, и оцинковала, и покрасила по белому фону черной краской, как береза получилось. Лампадки я поставила на очень длинные прутья и иногда двигала ими и чувствовала, как они достают до гроба. Я говорила: — Казик, ты меня слышишь? это я. — И рассказывала обо всем, что случилось в цеху в этот день. Когда забастовка закончилась, я прямо с верфи побежала на кладбище. — Казик, — кричу, — Послушай! Мы победили!

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — на вопрос, когда она поняла, что нужно делать.

После Декабря [1970 г.] я думала: теперь-то уж наверняка все переменится, ведь не может же быть, чтобы после этих выстрелов, после этой крови все осталось по-старому, но оказалось — может.

Я помогала тогда двум женщинам, пани Лёде, парализованной уже двадцать лет, с хроническим полиартритом, и пани Алиции, восьмидесятитрехлетней старушке, у которой не было родных. Мать Терезу из Калькутты однажды спросили, что она может дать человеку за полчаса до смерти. Она ответила: веру, что он не полностью одинок. Я не могла ничего сделать для

многих, для всех обиженных сразу, так что я думала, что помогу хоть пани Алиции.

Два года назад я впервые услышала о свободных профсоюзах. Я не знала, что это такое, но сразу во мне зародилась мысль, что если бы у нас были настоящие профсоюзы, то мы не были бы так беззащитны перед произволом и подлостью. Я начала искать людей, которые могли бы мне это всё растолковать. Я удивилась, когда их увидела в первый раз, потому что это были люди из интеллигенции, которые хотели помочь нам, рабочим. Это были хорошие люди, и они действительно хотели нам помочь. Я рассказала о них товарищам по цеху и принесла почитать разные вещи о профсоюзах.

После этого у меня начались неприятности. Рабочим запретили со мной разговаривать, а начальник цеха определил мне территорию, по которой я имела право передвигаться: от проходной до раздевалки и от раздевалки до рабочего места. В цеху у меня был обозначен участок от входа до сетки, а поскольку туалет был уже за этим участком, то для меня специально сделали ключ от другого туалета, в соседнем цеху. Каждый шаг за предназначенную мне территорию считался самовольным уходом с рабочего места.

В сентябре я решила уйти на пенсию. Перед пенсией людям всегда дают более высокий разряд без экзамена, но для меня устроили экзамен. Я сдала его, и тогда начальник цеха сказал рабочим: «Хотите, чтобы она получила разряд? Тогда снимите плакат». Плакат висел с июня, со времени визита Папы, и никто не хотел его снимать, но раз от этого стало зависеть, прибавят ли мне зарплату, люди сказали: ладно, и сняли плакат.

Все это было довольно тяжело выносить, и меня поддерживала только мысль, что я не одна, и что еще могу молиться. Мы молились ежедневно, во второй половине дня, в костёле Пресвятой Девы Марии в Гдыне. Мы по многу раз вслух повторяли молитвы за уволенных с работы, чтобы их приняли обратно; за судей, которые выносят несправедливые приговоры; а прежде всего за то, чтобы у нас всегда хватало смелости стать на защиту другого человека.

В январе меня перевели на работу в другой цех. Там было трое людей, которым дали специальные задания: бригадир обязан был следить, чтобы я не отлучалась, старший группы — чтоб не разговаривала, а пани Ядвига должна была беседовать со мной запросто, по-женски. Перевод этот был незаконный, поскольку в трудовом соглашении это не предусматривалось, и поэтому я

обратилась в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам передала дело в апелляционную комиссию, апелляционная комиссия — в суд, суд — в апелляционную комиссию, и через полгода, согласно законному решению суда, меня вернули обратно на прежнюю должность в мой цех. Шли недели, а никто этого решения выполнять не собирался. В связи с этим я сама явилась в свой цех, но начальник стал у меня на дороге и велел уходить. На следующий день в проходной на меня набросились четверо из охраны, схватили за руки, забрали пропуск и затащили в караульное помещение.

Ежедневно я приходила на работу, в согласии с решением суда, но работать мне не позволяли. В какой-то день меня запирали на ключ в раздевалке, на другой охранники задерживали силой в караульном помещении, на третий ничего особенного не происходило, разве что директор заявил, что решение суда ему не указ, и так далее. 9 июля охранники вызвали машину и отвезли меня в отдел кадров. Здесь, после тридцати лет работы на Гданьской судоверфи, мне вручили справку об увольнении за нарушение трудовой дисциплины, характеристику и дали деньги под расчет. В характеристике было написано: по статье 52, за самовольный уход с работы, хотя я приходила изо дня в день и отмечала табельную карточку.

Служащая, что оформляла мое увольнение, сказала мне: — Пани Аня, это просто ужасно, что они с вами делают, мне две таблетки реланиума пришлось принять, иначе я б просто не смогла все это оформить.

Я спросила: — А почему вы, собственно, это делаете?

— Если не сделаю, уволят, — ответила та, — а тогда придет кто-нибудь другой и сделает то же самое.

— Так пускай этот другой тоже этого не делает. И еще другой — тоже. Всех ведь не уволят.

Почему люди не понимают такой простой вещи, как вы думаете?

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос, думает ли она, что люди злые.*

Когда началась забастовка, с людьми стало происходить что-то странное. Люди сделались добрыми. Сразу, в один день. Даже один такой, из самых худших моих гонителей, начал как-то смело говорить в микрофон, но этого уж я не выдержала и рассказала, как он вел себя раньше. Возникла не очень приятная

ситуация, так что Лешек [Валенса] должен был успокоить всех, кто был в зале. — Прошу всех, чтоб все сели, — сказал он, — и вели себя достойно, как подобает христианину. Я сам выведу этого человека, чтоб ничего дурного с ним не случилось.

И проводил его до проходной, за проходную даже, через толпу, которая там его ожидала.

Этот человек был тут у меня недавно и просил у меня прощения.

Все у меня теперь просят прощения, и все со мной такие милые и добрые. Охранники, что мне руки выкручивали, говорят: добрый день, пани Аня, — и даже пропуск не хотят проверять. Мастера, что следили, чтобы я только своим туалетом пользовалась, меня поздравляют, а пани Ядя, что беседовала со мной по-женски, сказала: — Я с Вами, пани Аня. Во время забастовки я как-то пошла к ним с журналистом из Англии — и так уж они мне обрадовались! — Мы вынуждены были все это делать, пани Аня, потому что боялись, — говорят. — Ну, а теперь уже не боитесь? — спрашиваю. — Нет, теперь нет. — И мы кинулись друг другу на шею. Так что, я думаю, зла в людях, может, и нет — только вот боятся они очень.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос о дне 14 августа.*

В то утро я была в нашей поликлинике у врача. Кто-то сказал: забастовка. Я поглядела на подъемные краны за стеной. Они не двигались. На всякий случай я вернулась не к себе домой, а к знакомым, в сороковую квартиру. Около двенадцати прибежала ко мне соседка и говорит: директор за тобой машину прислал. Я сказала, что отсюда не выйду и пусть подъедут к самому подъезду. Машина подъехала, я в нее вскочила и мы поехали. В двенадцать с минутами я вошла на верфь. При входе стояли какие-то женщины с цветами, и оказалось, что цветы были для меня. Кто-то сказал, чтоб я поднялась на экскаватор. Я поднялась и увидела огромную толпу людей, как во время визита Папы. Над толпой я заметила транспарант: «ТРЕБУЕМ ВЕРНУТЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ».

Я крепилась, чтоб не заплакать.

Потом я сказала: — Спасибо вам всем, — и спустилась с экскаватора.

Ну, а затем все мы пошли в зал техники безопасности, чтобы посовещаться, а остальное вы уж наверно и сами знаете, так что нет смысла повторять.

Вопросы задавала Ханна Кралль

«Тыгодник повшехный», 11.01.1981

Перевод Александра Бондарева

Русский перевод был напечатан в парижской газете «Русская мысль» (13.08.1981) и в книге: Как начиналась «Солидарность». Составление, перевод и примечания Л.Шатунова [А.Бондарева]. London: Overseas Publ. Interchange, 1981.

-
1. После сентября 1939 года, когда по соглашению с Гитлером Красная Армия оккупировала восточные области Польши, местное население в массовом порядке вывозили на восток – в Сибирь и Казахстан. В числе вывезенных был и старший брат пани Ани, которого она с тех пор так и не увидела. — Прим. пер.
 2. UNRRA – администрация ООН по вопросам помощи и восстановления; на территории освобожденных из-под гитлеровской оккупации европейских стран действовала до конца 1946 года. — Прим. пер.

ЗЛА В ЛЮДЯХ, МОЖЕТ, И НЕТ...

Анна Валентинович — пани Аня — еще при жизни стала легендой польской «Солидарности». Скажем больше: если бы не она — дата крушения коммунизма могла бы отодвинуться. В помещенной ниже ее знаменитой беседе с Ханной Краль она об этом не говорит («...вы уж наверно сами знаете, так что нет смысла повторять»). Знают, к сожалению, не все. Дело было так. На четвертый день забастовки на Гданьской судовой верфи все требования бастующих (повышение зарплаты и возвращение на работу уволенных) были удовлетворены. «Я помню, — вспоминает пани Аня в своей книге «Тень будущего», — как Лех Валенса покрикивал на людей, что забастовка окончена и чтобы они шли по домам. То же повторяли заводские репродукторы. Тогда меня остановил морской офицер Тадеуш Щудловский: „Вы свои дела уладили, а как же те, кто вас поддерживал? Ведь их теперь раздавят“. Тогда мы с Алиной Пеньковской побежали в зал техники безопасности, чтобы по радио призвать людей остаться, но оно было уже выключено, так что мы побежали к проходной №3. Нам удалось закрыть эту проходную, а потом еще две. Я боялась, что уже слишком поздно. Из 16 тысяч бастующих осталось 300 человек. Возле проходной №2 стоял Валенса на аккумуляторной тележке. Я его оттуда стащила. Когда он увидел, что люди возвращаются, то попросил, чтобы ему позволили дальше руководить забастовкой». Эту историю подтверждает множество свидетелей, в том числе и рапорт ГБ: «Валенса однозначно заявил, что цели забастовки он считает достигнутыми. Тогда Борусевич и Валентинович, а также Казимеж Шолох с группой лиц решили продолжать забастовку, упрекая Валенсу в предательстве».

Вероятно, именно тогда зародился конфликт Анны Валентинович с Валенсой, ставший впоследствии ее навязчивой идеей. Харизматический Лех Валенса всячески старался отодвинуть ее на задний план (что ему довольно быстро удалось), а безграничная доброта пани Ани на этот единственный случай не распространялась. Она считала, что человек, ставший во главе «Солидарности», должен быть «рыцарем без страха и упрека». А Валенса таким не был. Следы этого конфликта видны до сегодняшнего дня: 3 мая 2006 г. президент Лех Качинский вручил пани Ане орден Белого Орла, а премьер Дональд Туск в своем выступлении 4 июня 2009 г.

среди имен героических женщин «Солидарности» даже не упомянул Анну Валентинович...

В январе 1981 г. я приехал в Гданьск, чтобы задать пани Ане глупейший вопрос. Дело в том, что уже тогда я решил составить и издать книгу, «которая позволила бы русскоязычным читателям познакомиться с подлинными документами материалами, чтобы он мог сам, а не под влиянием газет, телевидения или досужих вымыслов, узнать о том, как начиналась „Солидарность”». В книжку я хотел включить и только что опубликованную беседу с пани Аней — тоже своего рода документ и, быть может, наиболее близкий русскому читателю: судьбы миллионов советских женщин были слишком похожи на судьбу пани Ани... Она сидела в маленькой комнатке, и сама была маленькая и энергичная, чем-то похожая на Наташу Горбаневскую или польскую диссидентку Нину Карсов (которая потом и издала эту книжку в лондонском издательстве OPI). Я рассказал об этом проекте и спросил, не повредит ли это «Солидарности». Все-таки издательство эмигрантское, с непонятными источниками финансирования... Пани Аня рассмеялась: «Если нам что и повредит, то уж ваша книжка в последнюю очередь! А вообще я буду очень рада, если это получится. Я ведь сама родилась на востоке, на Украине, и тамошние люди мне не чужие...»

Добавлю лишь, что эта беседа почти тридцатилетней давности была перепечатана в «Газете выборчей» 19 апреля 2010 г., через 10 дней после смерти пани Ани. Да будет ей земля пухом!

Александр Бондарев

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — на вопрос о том, как все началось:

(Нужно, чтобы мы знали всё с самого начала, и тогда, может, сумеем понять, что произошло. А именно: что произошло 14 августа 1980 года, в двенадцать часов с минутами, когда при входе на Гданьскую судоверфь Анна Валентинович увидела стоящих в воротах и ждущих ее женщин с цветами, и услышала, как какие-то люди просят ее подняться на экскаватор и сказать несколько слов).

Мне пятьдесят один год, родилась я [в городе Ровно] на Волыни.

У меня были мать, отец и брат. Когда началась война, отец пошел на фронт, брата забрали и вывезли^[1], а мать умерла от сердечной болезни. Меня приютили чужие люди. Вернувшись в Польшу, я начала ходить по деревням и наниматься на работу: летом — на жатве, осенью — продавать кухонные ножи,

которые мои хозяева делали из старых кос. А зимой хозяева самогон гнали, и я ночью следила, чтобы котел не разнесло, а днем носила на спине мешок с бутылками — на продажу. В обмен на ножи и самогон мне давали муку, картошку и керосин, которые я носила обратно к моим хозяевам.

Приехали мы в Гданьск. Хозяева получили от ЮНРРы^[2]

кобылу и корову, паничи в школу пошли, а я должна была хозяйством заняться. Я-то в школу не ходила, разве что до войны, тогда я четыре класса кончила, хоть в бумагах и пишу, что семь. Нужно было анкету заполнить, чтоб на курсы сварщиков поступить, и я написала, что четыре, а товарищ один говорит: «Что ты, Аня! переделай на семерку». Из четверки совсем нетрудно семерочку сделать, ну, так и осталось, хоть по правде я уж никогда потом и не училась, разве что на курсах для неграмотных на верфи да на курсах сварщиков.

Хозяева мои богатели, у них уже и лошади были, и свиньи, и жеребята, пять коров и куры, и они уже работников себе нанимали. Я вставала в четыре утра, чтоб всю живность накормить и приготовить завтрак для работников, а в семь шла в поле работать и коров пасти, возвращалась в семь вечера, доила коров, шла с серпом и тележкой за крапивой для свиней, через соломорезку ее прокручивала, потом в двенадцать ложилась, а в четыре вставала скотину кормить.

Я все это не к тому говорю, чтоб винить кого-то, а чтоб в точности все передать, как оно было.

Однажды заметили мы в кустах перед домом — там самшит рос — какую-то могилку. Решили ее на кладбище перенести, и я начала уже копать, но это не могилка была, а коробка закопанная. Я ее открыла — а там золотые часы, брошки и колечки, а одно особенно красивое было, как змея трижды обвившаяся, с глазом голубым, — но тут хозяйка прибежала, всё к себе в подол ссыпала и унесла.

В сочельник поставили мне на кухне тарелку и принесли облатку для причастия. Я не хотела одна сидеть, и пошла к лошадям, и поделилась своей облаткой с кобылой Злоткой. Уж такая была это кобыла красивая, в приводе по кругу ходила как артистка, не шагала, а танцевала прямо, мышцы все напряжены — вот, так! — и после двух кругов уже вспотеет вся, такая была нежная да деликатная. Я ей пожелала к Рождеству что положено, а она заржала — если такие вещи не нужны, так

вы вычеркните потом, я говорю только, чтоб всё в точности было, вы ведь сами спрашивали.

В середине лета решила я отправиться куда глаза глядят. Шла, шла да и заснула, дальше иду и думаю, что делать. Лучше всего было б жизни себя лишить, но как? Хозяева мои из павшей скотины мыло делали, и я видела, как едкий натр быстро растворяет все-все косточки. Хорошо было б немного этого натра раздобыть, да где? Так я себя жизни не лишила и дальше пошла.

Попала я в пекарню, да так и осталась, потому что стояли там целые корзины с белыми булками, и представьте себе только, что могла я их есть сколько хотела. Как будто так и надо — булки лежат, а я беру и ем. Никто не говорит, что брать нельзя, я и беру — и ем сколько захочется.

Сколько я добрых людей в своей жизни встретила! И тех, что позволили мне белые булки есть, и тех, что задаром полуподвал отдали под жилье, и тех, что печку подарили, чтобы я ее в полуподвал поставила (если что отморозишь, то лучше такой печки не придумаешь, только нужно сначала намазать тело керосином, а потом греть на открытом огне, пока керосин не испарится), но важнее всех был один человек, который сказал: что ты тут сидишь? На верфь иди, получишь специальность и станешь человеком.

Я тогда всю ночь не спала. Молюсь Матери Божьей Остробрамской, а сердце в груди так и бьется: только бы приняли меня на эту верфь, только бы приняли. Но Матерь Божья меня услышала, и в ноябре 1950 года приняли меня на курсы сварщиков. Восьмого ноября, чтоб совсем точно было, вот тут печать стоит, а рядом — другая, восьмого августа 1980 года, об увольнении. Тридцать лет — совпадение какое, правда?

Год спустя мой снимок в первый раз появился в газете, в статье «Наши передовики», и с того времени появлялся все чаще и чаще — перед Фестивалем молодежи в Берлине, по случаю Конгресса профсоюзов (мы тогда втроем поехали — Солдек, Голомбек и я — как делегаты от нашей верфи), а еще на Доске почета, что на площади. Я там в комбинезоне стою, во время работы, в одной руке держу маску, а в другой — сварочную горелку. Рядом со мной стоит Вишневская Ядвига — двести сорок процентов нормы, и Секула Эмилия — двести десять процентов. У меня были самые высокие показатели — двести семьдесят процентов нормы. Доска почета стояла перед дирекцией, а над ней красной краской было написано

«ПЕРЕДОВЫЕ СВАРЩИЦЫ ИЗ БРИГАДЫ ИМ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ».

Самым важным событием в те годы был Фестиваль молодежи в Берлине в 1951 году. Сначала мы провели две недели в подготовительном лагере, где нас учили разным вещам: как ходить строевым шагом, уметь петь хором «Эй, вы кони, вы кони стальные», а также отвечать на вопросы агентов империализма. Самое главное — это нельзя было дать себя уговорить остаться, а лучше всего было держаться своей группы и ни на чьи вопросы не отвечать вообще. Помню, один молодой шахтер из Силезии сказал тогда: если б ко мне подошел империалистический провокатор, откуда мне знать, как бы я тогда себя повел? В ответ на что поднялся товарищ из Ольштына, высокий такой блондин, и сказал: если уж сейчас товарищ не знает, как бы он себя повел, то что ж тогда будет в Берлине? И шахтеру пришлось написать заявление, что он неважно себя чувствует со здоровьем, и вернуться к себе в Силезию.

Что до меня, то я сидела тише воды, ниже травы, и повторяла сама про себя, что уж я-то наверняка ни перед каким провокатором даже рта не раскрою.

18 августа у нас в Берлине было первое посещение выставки, чешской. Мы ходили по ней по двое, а при выходе глядим: нет нашего товарища из Ольштына, того высокого, что не был уверен, как поведет себя шахтер. Устраиваем перекличку, считаемся — нету. Идем к себе, где нас разместили, никому ни с кем разговаривать нельзя, а с чужими и подавно... Ну и с тех пор каждый день убывало по одному, по два делегата, только уже без переклички и пересчитывания. Нам только строго-настрого запретили рассказывать, когда вернемся, что произошло, а если кто спросит, то говорить, что, мол, вражеская пропаганда.

Я об этом фестивале так подробно рассказываю, потому что это было важное событие в моей жизни: впервые я сама столкнулась с ложью, и впервые моя организация велела мне обманывать других.

7 сентября 1952 года родился мой сын. Об отце его рассказывать не буду, потому что не стоит: еще перед свадьбой он показал свое истинное лицо, и я решила не выходить замуж.

Жила я с моим ребеночком какое-то время в доме матери и ребенка, а потом написала письмо Болеславу Беруту, и мне дали квартиру. Вот это и есть та самая квартира, на улице

Грюнвальдской, комната и кухня, 53 квадратных метра, летом вся насквозь солнцем просвечивается.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *в ответ на мое замечание, что ее история — это биография образцового рабочего, как Ванды Гостиминской, или Апрыаса, или братьев Бугдол, — при этом, однако, никто из этих людей не стал во главе забастовки. Можно ли вообще указать какой-то определенный день, какое-то событие, которое мы могли бы считать началом того пути, который привел ее к воротам Гданьской судоверфи 14 августа 1980 года?*

В коллективе нашего цеха я была представительницей Лиги женщин. Раз в неделю мы собирались и распределяли премии и взыскания. Каждый выдвигал на премии «своих людей», и, когда дело доходило до моих женщин, денег уже не было. Я протестовала и говорила, что это несправедливо.

Как-то раз нам выделили три тысячи злотых. Мы собирались их разделить между десятью рабочими, каждому по триста, но оказалось, что денег уже нет: их получили трое членов комитета, каждый по тысяче. Впрочем, двое из них, как люди говорили, всё равно были вынуждены отдать эти деньги председателю комитета, который постоянно покупал лотерейные билеты и никак не мог выиграть. Я тогда публично заявила, в первый раз, что у нас забирают деньги, которые полагаются рабочим. На другой день мастер шепотом сообщил мне: пани Аня, звонили насчет вас и велели явиться... если вы оттуда не вернетесь, как быть с ребенком?

Меня спрашивали, не слушаю ли я зарубежные радиостанции. Я сказала, чтобы они не прикидывались и что дело вовсе не в радио, а во вчерашнем заседании. На работу я вернулась через несколько часов. Вы думаете, что это можно считать началом?

(Нет, наверное, нет. Подобных историй с премиями, заседаний и допросов были тысячи, только вот люди, которых вызывали «на беседу», обычно потом переставали выступать на собраниях, а Анна Валентинович по-прежнему продолжала говорить об обидах и несправедливости.)

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос, не боялась ли она.*

В 1964 году я вышла замуж. А год спустя заболела раком.

После операции меня облучали радиометом сто четыре часа, а когда я выходила из больницы, то врач сказал, что у меня еще в лучшем случае пять лет жизни.

Срок, который мне назначили врачи, кончился в 1970 году. Сразу же после этого разразились декабрьские события — этот вопль, это слепое отчаяние, с которым люди вышли на улицы.

Я подумала: пять лет прошло, а я живу. Если Господь Бог даровал мне жизнь, то ведь, верно, для того, чтобы я как-то по-умному с ней поступила. И раздумывала: что бы это такое могло быть.

Я знала, что в одиночку мне с большой неправдой не совладать, так что начала я с мелких дел. Собрала я у людей в цеху карточки на молоко, за которым они ходить должны были в дальнюю столовую, принесла из дому кастрюлю, кипятила это молоко и разносила всем по рабочим местам. То же самое и с супом: уговорила я с одним человеком, который мне суп в цех привозил, разогревала, а как все поели — мыла посуду. Не за счет работы, конечно, а во время перерывов.

Пришел ко мне мастер и говорит, что я на публику работаю и что рабочие должны ходить в столовую. Отнесла я посуду обратно и снова раздумывала: что делать. Перед цехом был участок земли, я его вскопала и засеяла цветочками, но тут приходит мастер и говорит: «Что, нейметса себя показатъ, да?» — Я ничего такого, пан мастер, не хочу, — отвечаю, — хочу только, чтоб цветочки росли, — но он снова запретил, и больше я садик не разводила.

Скучала я. На кране у меня работы было на четыре часа, не больше (я на кран перешла после операции), цветочки сажать нельзя, суп разогревать тоже нельзя, так я сижу наверху и вяжу на спицах. Как-то раз слышу — тишина внизу. Подаю сигнал, гляжу — товарищ по цеху пишет мне на полу: ЗАБАСТОВКА. Я бегом вниз, а там уже толпа стоит, и директор объясняет, что премии разделяются так, как постановил премьер. Я кричу: ведь премьер обещал нам, что систему распределения мы сами разработаем. Как я это крикнула, люди и говорят мне: иди к микрофону! Повторила я снова о премиях, но добавила еще, чтобы сейчас мы все шли работать, а дирекция сообщит нам, что она решила. Люди снова пошли работать, — и только в тот день, 20 мая 1971 года, руководство обратило на меня внимание. Не то, что я людей бастовать звала, а что работать — люди-то меня послушались! Не уговоров начальника, не дирекции, а именно меня — это и заставило мое начальство призадуматься.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — на вопрос — повторный — о том, не боялась ли она.

В октябре 1971 года умер мой муж, а сын пошел служить в армию. Десятого похороны были, а двадцать пятого сын уехал — осталась я одна.

Чего же мне было бояться, раз я одна осталась?

За мужа бояться не приходилось, потому как самое страшное уже случилось.

За сына тоже, потому что он уже взрослый был.

За себя тоже нет, потому что я знала, что Бог даровал мне жизнь, хоть всё еще и не понимала в точности — почему. Так чего же бояться? Нет, страх тут у меня не присутствовал.

К тому же все время у меня занимали работа, кладбище, да поездки к сыну в Устку. Под каждое Рождество брала я в одну руку сумку с могильными лампадками, а в другую — всякую снедь для сына, вначале шла на могилку к мужу и зажигала свечи, а потом ехала к сыну. На могиле я говорила: «Вот, Казик, как оно всё получается. У всех сегодня близкие вместе с ними, а вы оба каждый в своем мире, и не могу я добраться до вас одновременно. Так и кружу, как космонавт, между вашими мирами — разве это справедливо?»

Крест своему мужу я своими руками сделала. Сама его сварила, и оцинковала, и покрасила по белому фону черной краской, как береза получилось. Лампадки я поставила на очень длинные прутья и иногда двигала ими и чувствовала, как они достают до гроба. Я говорила: — Казик, ты меня слышишь? это я. — И рассказывала обо всем, что случилось в цеху в этот день. Когда забастовка закончилась, я прямо с верфи побежала на кладбище. — Казик, — кричу, — Послушай! Мы победили!

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос, когда она поняла, что нужно делать.*

После Декабря [1970 г.] я думала: теперь-то уж наверняка все переменится, ведь не может же быть, чтобы после этих выстрелов, после этой крови все осталось по-старому, но оказалось — может.

Я помогала тогда двум женщинам, пани Лёде, парализованной уже двадцать лет, с хроническим полиартритом, и пани Алиции, восьмидесятитрехлетней старушке, у которой не было родных. Мать Терезу из Калькутты однажды спросили, что она может дать человеку за полчаса до смерти. Она ответила: веру, что он не полностью одинок. Я не могла ничего сделать для

многих, для всех обиженных сразу, так что я думала, что помогу хоть пани Алиции.

Два года назад я впервые услышала о свободных профсоюзах. Я не знала, что это такое, но сразу во мне зародилась мысль, что если бы у нас были настоящие профсоюзы, то мы не были бы так беззащитны перед произволом и подлостью. Я начала искать людей, которые могли бы мне это всё растолковать. Я удивилась, когда их увидела в первый раз, потому что это были люди из интеллигенции, которые хотели помочь нам, рабочим. Это были хорошие люди, и они действительно хотели нам помочь. Я рассказала о них товарищам по цеху и принесла почитать разные вещи о профсоюзах.

После этого у меня начались неприятности. Рабочим запретили со мной разговаривать, а начальник цеха определил мне территорию, по которой я имела право передвигаться: от проходной до раздевалки и от раздевалки до рабочего места. В цеху у меня был обозначен участок от входа до сетки, а поскольку туалет был уже за этим участком, то для меня специально сделали ключ от другого туалета, в соседнем цеху. Каждый шаг за предназначенную мне территорию считался самовольным уходом с рабочего места.

В сентябре я решила уйти на пенсию. Перед пенсией людям всегда дают более высокий разряд без экзамена, но для меня устроили экзамен. Я сдала его, и тогда начальник цеха сказал рабочим: «Хотите, чтобы она получила разряд? Тогда снимите плакат». Плакат висел с июня, со времени визита Папы, и никто не хотел его снимать, но раз от этого стало зависеть, прибавят ли мне зарплату, люди сказали: ладно, и сняли плакат.

Все это было довольно тяжело выносить, и меня поддерживала только мысль, что я не одна, и что еще могу молиться. Мы молились ежедневно, во второй половине дня, в костёле Пресвятой Девы Марии в Гдыне. Мы по многу раз вслух повторяли молитвы за уволенных с работы, чтобы их приняли обратно; за судей, которые выносят несправедливые приговоры; а прежде всего за то, чтобы у нас всегда хватало смелости стать на защиту другого человека.

В январе меня перевели на работу в другой цех. Там было трое людей, которым дали специальные задания: бригадир обязан был следить, чтобы я не отлучалась, старший группы — чтоб не разговаривала, а пани Ядвига должна была беседовать со мной запросто, по-женски. Перевод этот был незаконный, поскольку в трудовом соглашении это не предусматривалось, и поэтому я

обратилась в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам передала дело в апелляционную комиссию, апелляционная комиссия — в суд, суд — в апелляционную комиссию, и через полгода, согласно законному решению суда, меня вернули обратно на прежнюю должность в мой цех. Шли недели, а никто этого решения выполнять не собирался. В связи с этим я сама явилась в свой цех, но начальник стал у меня на дороге и велел уходить. На следующий день в проходной на меня набросились четверо из охраны, схватили за руки, забрали пропуск и затащили в караульное помещение.

Ежедневно я приходила на работу, в согласии с решением суда, но работать мне не позволяли. В какой-то день меня заперли на ключ в раздевалке, на другой охранники задерживали силой в караульном помещении, на третий ничего особенного не происходило, разве что директор заявил, что решение суда ему не указ, и так далее. 9 июля охранники вызвали машину и отвезли меня в отдел кадров. Здесь, после тридцати лет работы на Гданьской судоверфи, мне вручили справку об увольнении за нарушение трудовой дисциплины, характеристику и дали деньги под расчет. В характеристике было написано: по статье 52, за самовольный уход с работы, хотя я приходила изо дня в день и отмечала табельную карточку.

Служащая, что оформляла мое увольнение, сказала мне: — Пани Аня, это просто ужасно, что они с вами делают, мне две таблетки реланиума пришлось принять, иначе я б просто не смогла все это оформить.

Я спросила: — А почему вы, собственно, это делаете?

— Если не сделаю, уволят, — ответила та, — а тогда придет кто-нибудь другой и сделает то же самое.

— Так пускай этот другой тоже этого не делает. И еще другой — тоже. Всех ведь не уволят.

Почему люди не понимают такой простой вещи, как вы думаете?

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос, думает ли она, что люди злые.*

Когда началась забастовка, с людьми стало происходить что-то странное. Люди сделались добрыми. Сразу, в один день. Даже один такой, из самых худших моих гонителей, начал как-то смело говорить в микрофон, но этого уж я не выдержала и рассказала, как он вел себя раньше. Возникла не очень приятная

ситуация, так что Лешек [Валенса] должен был успокоить всех, кто был в зале. — Прошу всех, чтоб все сели, — сказал он, — и вели себя достойно, как подобает христианину. Я сам выведу этого человека, чтоб ничего дурного с ним не случилось.

И проводил его до проходной, за проходную даже, через толпу, которая там его ожидала.

Этот человек был тут у меня недавно и просил у меня прощения.

Все у меня теперь просят прощения, и все со мной такие милые и добрые. Охранники, что мне руки выкручивали, говорят: добрый день, пани Аня, — и даже пропуск не хотят проверять. Мастера, что следили, чтобы я только своим туалетом пользовалась, меня поздравляют, а пани Ядя, что беседовала со мной по-женски, сказала: — Я с Вами, пани Аня. Во время забастовки я как-то пошла к ним с журналистом из Англии — и так уж они мне обрадовались! — Мы вынуждены были все это делать, пани Аня, потому что боялись, — говорят. — Ну, а теперь уже не боитесь? — спрашиваю. — Нет, теперь нет. — И мы кинулись друг другу на шею. Так что, я думаю, зла в людях, может, и нет — только вот боятся они очень.

АННА ВАЛЕНТИНОВИЧ — *на вопрос о дне 14 августа.*

В то утро я была в нашей поликлинике у врача. Кто-то сказал: забастовка. Я поглядела на подъемные краны за стеной. Они не двигались. На всякий случай я вернулась не к себе домой, а к знакомым, в сороковую квартиру. Около двенадцати прибежала ко мне соседка и говорит: директор за тобой машину прислал. Я сказала, что отсюда не выйду и пусть подъедут к самому подъезду. Машина подъехала, я в нее вскочила и мы поехали. В двенадцать с минутами я вошла на верфь. При входе стояли какие-то женщины с цветами, и оказалось, что цветы были для меня. Кто-то сказал, чтоб я поднялась на экскаватор. Я поднялась и увидела огромную толпу людей, как во время визита Папы. Над толпой я заметила транспарант: «ТРЕБУЕМ ВЕРНУТЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ».

Я крепилась, чтоб не заплакать.

Потом я сказала: — Спасибо вам всем, — и спустилась с экскаватора.

Ну, а затем все мы пошли в зал техники безопасности, чтобы посовещаться, а остальное вы уж наверно и сами знаете, так что нет смысла повторять.

Вопросы задавала Ханна Кралль

«Тыгодник повшехный», 11.01.1981

Перевод Александра Бондарева

Русский перевод был напечатан в парижской газете «Русская мысль» (13.08.1981) и в книге: Как начиналась «Солидарность». Составление, перевод и примечания Л.Шатунова [А.Бондарева]. London: Overseas Publ. Interchange, 1981.

-
1. После сентября 1939 года, когда по соглашению с Гитлером Красная Армия оккупировала восточные области Польши, местное население в массовом порядке вывозили на восток – в Сибирь и Казахстан. В числе вывезенных был и старший брат пани Ани, которого она с тех пор так и не увидела. — Прим. пер.
 2. UNRRA – администрация ООН по вопросам помощи и восстановления; на территории освобожденных из-под гитлеровской оккупации европейских стран действовала до конца 1946 года. — Прим. пер.

О ШОПЕНЕ

Збигнев Херберт:

Каждый из нас носит в себе какой-то портрет Шопена. Порою это попросту воспоминание об одном из существующих изображений, иногда — «собственная композиция», в которой реалии смешиваются с идеализирующими подробностями. Обычно это, пожалуй, образ молодого человека с бледным, удлинённым лицом, горящими глазами и крупным орлиным носом.

Когда я просматриваю изображения, современные композитору, мало какое из них меня удовлетворяет. У меня уже есть свое мнение об этом лице, которого я никогда не видел. Готов спорить на что угодно, что тот вон, к примеру, карамельно сладкий, альбомный портретик скверен, что Шопен так не выглядел. И только два, собственно два...

Одно — это картина, а скорее этюд маслом Эжена Делакруа. Я питаю большое доверие к этому блистательному романтику, который долгие годы общался с Шопеном и его музыкой. И хотя сам живописец не был доволен этим своим портретом, хотя среди его произведений портрет не занимает высокого места, хотя художник, возможно, ошибался в передаче деталей модели — невзирая на все оговорки это, пожалуй, одна из самых верных попыток воспроизвести индивидуальность артиста.

Не передаваемое словами движение головы, выплывающей из глухого темного фона, и сосредоточенный свет создают, говоря банально, настроение заслушавшегося человека. Шопен слушает. Но это наверняка не нарциссическое восхищение собственной музыкой. Тут скорее усилие услышать то, что вне его и что нужно сосредоточенным трудом совлечь на землю.

Насколько же непохоже на этот портрет второе изображение Шопена, которое я выбираю из многих, — единственная его фотография.

Трудно удивляться художникам: они видели его через призму музыки, а потому писали красивым и одухотворенным. Зато фотограф продемонстрировал всю жестокость своего мастерства.

В сером английском пальто сидит мужчина с лицом, измятым болезнью и страданием. Под глазами — большие мешки, губы сжаты с выражением окончательной отрешенности. Щеки обвислые, опухшие, словно между двумя приступами кашля. И даже вся эта очевидная забота об одежде и внешнем виде искусственно прилегает к этому измученному телу, как преувеличенная элегантность тех, кто собирается в последнее путешествие (...).

Поэтому среди множества написанных, нарисованных и изваянных свидетельств я выбираю только два, и, когда размышляю о них, сравниваю их друг с другом и осознаю, что они относятся к одной и той же личности, мне кажется, будто я прикасаюсь к тайне человека и его музыки.

Стефан Киселевский:

О Шопене сегодня хотелось бы писать совершенно иначе, чем писали о нем до сих пор. Его тоже, подобно Бетховену, неустанно преследует собственная назойливая легенда, которая уродует, извращает, стилизует, меняет пропорции (...). В наводнении суждений традиционных, общепринятых, удобных или воздействующих на заурядное воображение, а с другой стороны — в наводнении суждений частичных, выделяющих лишь отдельные элементы, отвечающие субъективной человеческой заинтересованности, где-то пропадает универсальная правда о Шопене. Эту правду, правду о его артистической индивидуальности и его человеческом облике можно бы определить так: он был безмерно сложен, но сложен таким образом, что одновременно необычайно и монолитно прост.

Сложность и простота — противоположные понятия, и только гениям дано соединить их в однородное и гармоничное целое. Гений сочетает в себе противоположности неповторимым образом, в его случае это сочетание кажется естественным, очевидным — у любого другого оно казалось бы бессмыслицей и дисгармонией. Вагнер, наверное, не был гением: слишком уж он однороден, в нем мало противоречий. Зато Шопен был чистейшим гением: хотя ему присуща исключительная цельность, однако с момента его смерти и вплоть до сего дня каждый обнаруживает в нем что-то другое (...). Им пользовался и импрессионизм, и джаз, им восторгался и экстатический мистик Скрябин, и объективистский ремесленник Равель; Шопен превосходно укладывался в историю и атмосферу западноевропейской музыки, но одновременно был органическим элементом славянской, патриотически-мессианской, нередко жалостной польской легенды. Шопен —

как будто тот волшебный предмет, который в каждом зеркале отражается по-другому. А ведь это всегда один и тот же предмет. Такова тайна синтетической природы гения, в которой, как в солнечном спектре, семь цветов радуги, наложенные один на другой, дают в итоге простую, девственно непорочную белизну — в белизне этой, однако, содержится всё остальное.

Зигмунт Мыцельский:

Когда были опубликованы письма Шопена, кто-то, лишенный истерически-интеллигентских бзиков, выразился после их прочтения: «Бедный мальчонка». С трезвых страниц этого романтика веет странным и простым, юношеским сознанием висящего, как рок, несчастья. Эта грусть редко выражена прямо, она усиливается годами и болезнью, проглядывает из иронических фраз и приоткрывает неутоленное отношение к миру и людям, какую-то неудовлетворенность, составляющую содержание артистизма. (...) «Бедный мальчонка» организовал себе жизнь, как умел, друзья помогали, — а он все время писал завещание и беспокоился о его понятности. Этот мнимый разлад между человеком и теми эмоциональными напряжениями, которые заключены в его творчестве, у Шопена необычаен. Мы не видим у него «профессионального рвения», обнаруживаемого в биографиях великих мастеров. Что-то иное для него характерно: мнимая свобода образа жизни при всей интенсивности накала сознательной творческой воли. Весьма интересный стиль жизни, не такой, как у известных до этого гениев или «титанов труда» (...).

Остается (...) человек неслыханно сложный и выдержанный, польский Шопен, любящий Польшу, своих близких, свое искусство. А помимо этого он был замкнут в форму кристальную и непрозрачную, хрупкую и недоступную, страшно чувствителен к собственным и чужим «волнениям», закован в броню видимостей, воспитания, светских форм, заглаживал даже малейшие следы взволнованности, не выносил эксгибиционизма, криков и истерик, а при этом — с нервами на поверхности, как пыльца на крыльях бабочки.

Петр Вежбицкий:

С тех пор как я слушаю музыку, мне сопутствует загадка Шопена, тайна его особенной своеобычности, отдельности, исключительности — с одной стороны, рекордно яркой и выразительной (о том, что перед нами Шопен, мы узнаём в одно мгновение), а с другой — дьявольски неуловимой. Мне кажется, что онный секрет шопеновского стиля и в то же время

особого и всегда столь безотказного резонанса, в который его музыка входит с каждой индивидуальной слушающей душой, — это вездесущий в ней обманчивый, мерцающий тон. Только что вышла моя книга, где говорится именно об этом^[1]. И сегодня ничего умнее мне не выдумать, кроме как процитировать один кусок из нее:

«Игра противоречивых стихий — плача и смеха, преднамеренности и вдохновения. Восклицательные и вопросительные знаки. Всё разбегается. Всё щебечет. Всё извивается. Всё трепещет. Тучи побочных ноток. Извержение ассоциаций. Вздохи, ледящие кровь в жилах. Громовые раскаты, кроющие тревогу. Выводы, без промедления сеющие множество разнообразных сомнений. А душа человеческая, по крайней мере когда она предоставлена себе самой, когда ей нет нужды суетиться, доказывать, служить, подчиняться целям, делам, экзаменам, не марширует по большому утопанному тракту, не танцует в ритме высказанных мыслей, названных чувств, тонов, учтенных в большой неписаной книге. А душа человеческая, по крайней мере когда никто за ней не подглядывает, прокрадывается обочинами, исподтишка, рыскает по углам, мечется, запутывается в паутине воспоминаний, порывов, прихотей и всё время вертится на месте, сбита с толку, неуверенная в себе, поглядывая во все стороны. А маршруты человеческой души, если никто на нее не смотрит, извилисты, не обозначены никакими знаками, и можно усомниться, окончательно ли проложены.

Так мерцание языка звуков входит в резонанс с разбушевавшимися томлениями, страхами, печалью, огорчениями и прихотями. Так человеческая душа отыскивает в стиле Шопена свою собственную природу. Так выходит наружу великий парадокс этой музыки. Трезво держась земли, избегая шумных «измов», Шопен внезапно остается с глазу на глаз с глубочайшей тайной Природы. Мерцание есть состояние человеческой души. А разве существование скорее в кружениях, вывертах, сверканиях, нежели в стабильности, осязаемости, реальности, не дано в удел всем зонам вселенной, всем вещам, всем частичкам вещи? А разве весь мир в его безграничной громадности, в его неутомимой преходящести, в его появлении перед глядящими, понимающими глазами и исчезновении, когда им приходит время навсегда закрыться, представляет собой что-то иное, как не империю противоречивых течений, обманчивых симптомов, непредсказуемых продолжений, пролагаемых невидимой рукой хаоса?

Так расчетливый режиссер собственной карьеры, часовых дел мастер, не из силы духа черпающий вдохновение, а из интеллекта, из помыслов, маньяк принципа «поменьше слов», реалист, агностик, скептик, шутник, а часто и шут, враг рассуждений о музыке, цепляния к мелочам, философских разглагольствований, тот, кто сам себя столкнул на обочину с широкого, утрамбованного тракта языка звуков, тот, кто забрался в бездонные глубины Космоса лишь однажды, в гремящих пассажах Этюда до минор, последнего из вторых Этюдов, а методом выбрал глумление, кто, пренебрегши изучением мира, увидел его — мимоходом — насквозь. Так стиль Шопена выдает свой улётный секрет: неуловимое придержать неуловимым, разбежавшееся подогнать и расчихвостить, темное приодеть во тьму».

-
1. Piotr Wierzbicki. *Migotliwy ton — esej o stylu Chopina*. Warszawa: «Sic!», 2010.

ОБ АННЕ СВИРЩИНСКОЙ

Анна Свирщинская (1909–1984) после блестящего дебюта в 1936 г. осталась поэтом недооцененным, на что были разные причины, отчасти связанные с историей страны, так как после войны ее стихи долго не издавались. Впрочем, она созрела поздно и останется в летописи поэзии одним из феноменов творческой энергии, набирающей силу к старости.

Ход времени не повредил ее поэзии, напротив — подчеркнул ее непреходящую ценность, и теперь — без колебаний утверждаю это — Свирщинская должна быть отнесена к крупнейшим поэтическим индивидуальностям в истории польской литературы. Полное собрание стихотворений, бесспорно, упрочит ее статус классика.

Она родилась 7 января 1909 г. в Варшаве, была единственным ребенком художника Яна Сверчинского и Станиславы, урожденной Боярской. Фамилия Свирщинская, отличная от фамилии отца, возникла из-за ошибки русского чиновника, выписывавшего метрику, но она никогда этой фамилии не меняла. В детстве она испытала, что такое крайняя бедность. Жила и готовила уроки в мастерской отца, который не шел ни на какие жизненные компромиссы и был всецело предан своему художественному призванию.

Анна собиралась стать художницей, но отсутствие средств заставило ее отказаться от учебы в Академии художеств и поступить на факультет польской филологии. На ее раннюю поэзию оказали влияние мировая живопись, знакомая ей по альбомам, которые приносил в дом отец, и старопольская поэзия. В 1932 г. она окончила университет. В 1934 г. получила (вместе с Тадеушем Холлендером и Вацлавом Гусарским) премию «Ведомостей литератских» («Литературных ведомостей») за стихотворение «Полдень». С 1936 г. до начала войны работала в Союзе польских учителей редактором городского варианта журнала «Пломычек». В 1936 г. участвовала в забастовке протеста, объявленной Союзом.

Ее первая книга, «Стихи и проза», вышла «за счет автора» в 1936 г. и в литературной среде была признана событием. Всякий, кто прочел эту книгу, не мог не запомнить имя Свирщинской и с тех пор многого от нее ожидал. Несомненно, книга прежде всего свидетельствовала о том, что воображение

поэтессы питается современным искусством, однако ее стилизации и миниатюры предвещали в поэзии нечто новое. В отношении версификации они не были родственны ни авангарду, ни «Скамандру», хотя напоминали юношеское творчество некоторых скамандритов (особенно поэтическую прозу Ивашкевича) и французских поэтов, которых те переводили. Можно сказать, она дебютировала под знаком Рембо, а в живописи — Таможенника Руссо. Если сравнить ранние произведения Свирщинской со стихами ее последователей, писавших в 60-е и 70-е годы, можно найти определенные общие черты, хотя доказать, что они ее читали, было бы трудно.

Переживания лет оккупации оказались ключевыми для поэтессы, тут можно говорить о переломе. Тогда она зарабатывала в Варшаве на жизнь физическим трудом, была продавщицей, сиделкой в больнице и участвовала в подпольной литературной жизни. Получила премию на подпольном конкурсе за стихотворение «1941 год» (независимо от этого стихотворение было опубликовано в моей антологии «Независимая песнь», 1942) и вторую премию за пьесу об Орфее. Во время Варшавского восстания была санитаркой в госпитале и, как сама рассказывала, в течение часа стояла у стенки, ожидая расстрела. О военной Варшаве она пыталась писать сразу после войны, используя в новых целях ранее найденную форму стихотворения в прозе, но еще не скоро выработала стиль, способный поднять эту тему. Итогом долгих поисков стала книга стихов «Я строила баррикаду» (1974). Такого свидетельства не дал больше никто кроме Мирона Бялошевского в «Дневнике варшавского восстания». Эта книга занимает особое место и в польской, и в мировой поэзии как поэтический репортаж об одной из великих трагедий XX века. В этом репортаже более всего очевидна забота о точности и предельной сжатости, но предмет его — не столько ход событий, сколько позиции и поступки людей, их героизм, страх, эгоизм, самоотверженность. Запечатлеть память убитого города выпало не романтической поэзии двадцатилетних — Бачинского, Гайцы, Тшебинского, — а именно Свирщинской, которая была на десять лет старше их. Ее сдержанность, выработанная в 30-е годы в поэзии несколько ироничной, шутливой, больше соответствовала замыслу, чем пафос подвига и жертвенности.

После войны Свирщинская поселилась в Кракове. У нее была репутация скорее литератора средней руки, чем поэта. Она писала стихи для детей, пьесы для театра и радио. Похоже, что она, будучи весьма требовательна к себе, держала свои стихи в

ящике письменного стола, лишь немного отдавая в печать, и, как и в случае стихов о войне, постепенно искала средства выражения. К счастью, один из ее сборников снабжен авторским вступлением, где биографические сведения сочетаются с изложением принципов поэтики. Это очень важный текст, он содержит одну из интереснейших программ польской поэзии нашего столетия. Свирщинская предстает здесь как поэт поколения, которому не близки ни «Скамандр», ни краковский авангард. Знаменателен акцент на содержание, в каждом стихотворении требующее своей формы, что совершенно противоположно вошедшему в современный обиход предпочтению формального новаторства. Свирщинская идет настолько далеко, что советует освобождаться от собственного стиля. Впрочем, лучше всего она сформулировала это сама, я лишь обращаю внимание на ее высказывание, опубликованное в небольшой книжке.

Нетрудно понять, почему такой подход обрекал Свирщинскую на конфликты. Ведь он не соответствовал ни образцам авангарда, ни соцреализму. Правда, стиль абсолютно «нагой», прозрачный, лишенный, насколько возможно, метафор, был, очевидно, и целью Тадеуша Ружевиша. Два эти поэта развивались параллельно. Между ними есть известное сходство.

Конечно, надо принять во внимание и политические обстоятельства. За десять лет, с 1945 по 1955 г., не вышло ни одной книги Свирщинской, только после «оттепели» появилась «Избранная лирика» (1958). Потом должно было пройти девять лет, прежде чем она выпустила «Черные слова» (1967), подражания африканской народной поэзии, ставшие словно продолжением ее довоенных упражнений в стилизации, но и доработкой собственного стиля в любовной лирике. Прошло еще четыре года, прежде чем на полках книжных магазинов появился «Ветер» (1970) — книга, открывшая ее последний, самый плодотворный период.

Темы зрелой Свирщинской — это судьба женщины и секс. Обе темы в ее трактовке были неприязненно восприняты многими читателями. Ее феминизм рожден сочувственным вниманием к горькой участи женщин, которыми помыкают мужчины. Но разве в польской народной песне Кася, которая едет венчаться, не просит Господа Иисуса о счастье, хотя знает, что «идет под кулак Яся»? Разве пьянство и битье женщин издавна не принадлежат к атрибутам мужественности в польской народной культуре, указывая, что, несмотря на латинизацию, страна сохраняет сильные славянские черты? Свирщинская

говорит об этом столь резко, что кажется, будто она провозглашает борьбу полов наподобие борьбы классов или рас. Мужчины — господствующий класс, женщины — пролетариат. Так что ее защита женщин не совсем похожа на ставший модным несколько позднее феминизм, пришедший с Запада, хотя, надо признать, у нее есть нотки веры в Богиню Матриархата, что принесет человечеству новые десять заповедей, не запятнанных кровью. И вновь, как в стихах о войне, довоенные миниатюры наполняются реалистическим содержанием. Больше всего трогают краткие, в несколько слов, сценки или мини-повести о старых женщинах. Ее книга «Я баба» (1972) — манифест и вызов. Она состоит из двух, в равной степени жестких, частей: 1) о судьбе женщин, 2) о собственных любовных переживаниях. Между частями есть связь — уже в самом отказе от согласия на пассивную социальную роль, поскольку автор выступает как независимый центр воли: «Я построила дом, / Я выбрала мужчину». Она выбирает, она строит, она рождает, она каждый день совершает пробежки ради здоровья, она пишет.

В любовной части есть очень красивые стихи, которые, однако, не могли нравиться мужчинам. Но, хотя они шокировали, несколько критиков приветствовали их как неожиданное извержение таланта. Заметим: ни одна из польских поэтесс не отважилась так открыто писать о сексе, как Свирщинская в трех циклах той книги, которые она назвала поэмами: «Любовь Фелиции», «Любовь Антонины», «Любовь Стефании». Книгу открывает пролог — «Женщина беседует со своим бедром». Это ода женским гениталиям, которые польский язык одарил насмешливыми и презрительными наименованиями, так что слово «бедро» здесь — уступка условности. Таких уступок немного, хотя бы потому, что автор оды не стесняется открыто писать об оргазме. Возможно, самая интересная черта этих любовных стихотворений — отсутствие в них исповедальности. Вопреки литературе исповеди с ее фиксацией чувств переживающего и повествующего «я», здесь перед нами нечто вроде исследования возможных типов чувственных связей между мужчиной и женщиной как биологическими существами. Или, иначе говоря, словно в эротических рисунках, где властвует линия, мужчина и женщина сводятся к каллиграфии; не важны ни их лица, ни фамилии — отсюда явно произвольное наименование трех типов именами Фелиции, Антонины и Стефании. Отметим в скобках, что эти эротические этюды принадлежат шестидесятилетней женщине.

Свирщинская как «бесстыдная баба» вызывала гнев и тревогу у мужской части читающей публики и своим феминизмом, и тем, что подчеркивала ведущую роль женщины в любовном союзе, не без оттенка презрения к мужчине, из-за чего иногда производила впечатление ведьмы, «зловещей фигуры». То, что критики выделили особую категорию «женской литературы», позволяло присвоить ей высокий ранг, но лишь в пределах этой особой категории, куда включали также Марию Павликовскую и Халину Посвятовскую. Не последней причиной того, что она осталась недооцененной, был и эмоциональный тон, не гармонирующий с обычаями католической страны. Агностицизм был довольно типичен для ее круга прогрессивной интеллигенции, но часто бывал заслонен патриотической риторикой; у нее же, хотя молитва и патриотизм ненадолго соединяются в стихотворении «1941 год», впоследствии две этих сферы разделены — так, например, в книге «Я строила баррикаду» нет религиозных акцентов.

Философия Свирщинской крайне соматична, на первый план выступает плоть. Ее зрелое поэтическое творчество можно назвать разговором с собственным телом. Именно так — «Talking to my body» — озаглавлен сборник ее стихотворений на английском языке в переводе, сделанном мною и Леонардом Натаном. В раздвоении на душу и тело — глубинная оригинальность ее поэзии. Это не что иное, как средневековое и барочное переживание бренности своего телесного существования или даже участие в танце смерти. Со времен Николая Семпа-Шажинского в польской поэзии не было столь метафизического — именно в таком смысле — поэта, как Свирщинская. У нее, агностика, сознание не может опереться на веру в бессмертие души и жизнь вечную, и душа тем более одинока в своем превосходстве над телом. Только в последних стихах поэтесса, кажется, снискала благодать великого равновесия и покоя. Эта проблематика универсальна, поэтому причислять Свирщинскую к какой-то одной узкой категории было бы недоразумением.

Название книги «Счастлива, как собачий хвост» (1978) дает представление еще об одном элементе этой поэзии — юморе. Она постоянно соединяла трагизм и комизм, как пристало человеку, осознающему их удивительное сплетение в жизни. Ее чувство юмора принимало различные формы — от беззаботной игры в раннем творчестве, через гротеск и ужас военных сцен, до легкости тона в стихах, написанных в старости о том, какое счастье — бежать, сгребать сено, даже стоять на голове. Столь серьезная в своем сочувственном наблюдении, она в то же

время умеет шутить над своей серьезностью, что может означать еще один вариант раздвоения: душа и тело — а также сознание, отделяющееся от сознания.

Важна в ее творчестве последняя книга, изданная посмертно, — «Страдание и радость» (1985). В ней есть цикл об отце и матери, что является редкостью как в мировой, так и в польской поэзии. Влияние психологии, особенно фрейдизма, на размышления о семье склоняло к тому, чтобы обратить внимание на личность, на ее травмы и комплексы, имеющие исток в переживаниях детства. Отсюда мода объяснять все отступления от нормы дурными условиями в доме, что на практике означало возлагать ответственность на родителей. Так называемое «трудное детство» должно было объяснить наркоманию или то, что данный субъект кому-то перерезал горло. К примеру, в американской литературе следствие этой моды — описания родителей-чудовищ. В Польше, казалось бы, не должны действовать эти причины, но в польской поэзии происходит странная субъективизация: «я» раскрывается за счет вытеснения других людей, что не благоприятствует описаниям жизни в семье. А цикл Свирщинской — это песнь любви к родителям. Или, точнее, как обычно у нее, репортаж, где жизнь двух людей показана на польском историческом фоне: при царизме, во время первой мировой войны, в межвоенное двадцатилетие, во время второй войны, в послевоенные годы. Фон намечен несколькими штрихами, но как нельзя более существен для биографии героев. Вот отец — мальчишка, распространитель листовок в 1905 г., вот голодная военная Варшава и мать, прелестная панна Стася из Остроленки, которая вышла замуж за художника, стоит в очереди за хлебом, вот мастерская отца и бедность 20-х годов, немецкая бомба, уничтожившая все работы отца, вот послевоенный Краков. Это немало, когда два человека получают такой памятник любви и благодарности от дочери. Но мы бы не были в этом уверены, если бы прикладная цель — увековечить память родителей — не дала поэзию столь высокой пробы. Поэтому, стиль Свирщинской менялся четырежды и, меняясь, все лучше служил ее замыслам: в стихах о войне, в стихах о женских горестях, в любовных стихах и в стихах о родителях. Всякий раз значительность ее поэзии обеспечена весомостью содержания. Другими словами, ей есть о чем рассказать. Мотив живописи отца, то, как он постоянно исправлял и переделывал картины, — мы чувствуем это — важен так же, как верность дочери его артистическому упорству: важен, ибо подлиннен. Эта эмоциональная связь с отцом рождает, кстати, одну из самых пронзительных польских элегий — «Стираю рубашку»; а

вершина любовной лирики Свирщинской — стихи о встрече с нищенкой «Такая же внутри».

В посмертной книге «Страдание и радость» мы найдем и цикл «Стихи о друге», краткое автобиографическое повествование еще об одном, позднем, любовном союзе, соответствие трем циклам книги «Я баба». Старые женщины постоянно присутствуют у Свирщинской, здесь же она сама выступает как героиня любовной истории двух старых людей, традиционно воспринимаемой как нечто неуместное. Следует радоваться, что эта история написана, коль скоро она стала причиной еще нескольких высших поэтических достижений, запечатлевших прощальное благословение, посылаемое жизни. То же можно сказать и о последнем стихотворении, написанном накануне онкологической операции. Отважная, трезвомыслящая, спокойная, она признаёт, что была грешницей, принимает приговор и, хотя не произносит имени Высшей Силы, предается ей с верой и надеждой.

Существует теория, согласно которой лирическая поэзия складывается из крупиц биографии данного поэта, то есть, читая, мы заполняем пробелы собственным воображением и видим автора в разных ситуациях, словно героя романа. К некоторым типам поэзии это применимо, но только к некоторым. Мы немного узнаём о личной судьбе Кохановского из его стихов, за исключением «Тренов», которые, впрочем, были отступлением от принятого в его время принципа «декорума» (уместности), предписывающего сдержанность в раскрытии личного мира перед глазами читателя. Несколько столетий влияние классицизма содействовало литературному костюму и маске, так что, скажем, о личности Расина мы узнаём лишь опосредованно, из его трагедий, а о страстях епископа Игнатия Красицкого знаем весьма немного, кроме того, что он любил сладости. В этом смысле романтизм был огромным переворотом, и «Крымские сонеты» Мицкевича не случайно взбудоражили варшавских классицистов. Мелодраматически необузданный девятнадцатый век дает много примеров исповедальной лирики; во всяком случае, тогда утвердился образец говорящего субъекта, неотделимого от автора. Дело несколько осложняется в сменяющихся одна другую литературных школах новейшего времени, поскольку появляются призывы к «стыдливости чувств», метафорической номинации и поиску «объективных соответствий». Столкновение этих лозунгов со склонностью поэтов упорно твердить о самих себе дает различные эффекты. Размышляя о Свирщинской, невозможно избежать вопроса о том, какова в ее случае связь поэзии с биографией. Это очень

специфическая связь, ее нелегко уловить, главным образом из-за таких черт поэтессы, как скептический и насмешливый ум, мятежный характер, не признающий моральных ограничений, из-за ее чувственной натуры, способной впадать в любовный экстаз. Такой комплекс недостатков и достоинств, подчас противоречивых, затрудняет жизнеописание. А ведь редко встречается поэзия столь автобиографичная, хотя ее автор рассказывает о других людях, а если уж говорит о себе, то как бы наблюдая со стороны.

Мне кажется, знакомство с ее творчеством надо начинать со стихов об отце и матери, потом попытаться представить ее себе как студентку, некрасивую, закомплексованную (по ее собственным словам), бегавшую по зажиточным семьям с уроками. С филологического факультета она вынесла восторг перед польским языком XV века, и это, наряду с живописью, сформировало ее довоенную поэзию и то, что она писала в начале войны. Потом она менялась, все более освобождаясь от всякой скованности, хотя не скоро ощутила себя собой и заговорила в полный голос. Эта восхитившая меня дебютантка моего поколения не сразу предстала передо мной конкретной личностью, хотя я тогда ее где-то видел. Конкретной личностью она стала только на подпольных авторских вечерах в оккупированной Варшаве, но не очень запомнилась. Зато когда я встретил ее во время приезда в Польшу в 1981 г., в Союзе литераторов на улице Крупничей в Кракове, она показалась мне совершенно необычной. Волшебница из сказки: лицо удлинненное, но плотно вылепленное, крепкая, загорелая, с большой гривой седых волос. Вероятно, эта внешность соответствовала превращению робкой поэтичной девочки во властную, сознающую свою силу женщину из книги «Я баба».

Как уже сказано, я против того, чтобы славить Свирщинскую как автора любовной лирики и тем самым замыкать ее в рамках женской поэзии. Даже ее своеобразие и некую эксцентричность в общении с людьми не следует подчеркивать, если это мешает пониманию всей весомости ее наследия. В творчестве она предстает полным человеком. Она познала нужду, тяжелый труд, наслаждение, несчастья — свои и своей страны, материнство, бунт против условностей, восторг перед искусством, интеллектуальное упоение, сочувствие, отчаяние, осознала свои грехи, победы и поражения. В истории польской культуры это первый пример женщины, которая — уже по ту сторону барьеров, долго отделявших ее от пространства, доступного только мужчине. Ей не нужно напрягаться, чтобы ее признали равной, как это делают профессиональные феминистки. Размышления об участии

собственного пола не переходят у нее в «грубый и надсадный вопль женственности», за которым, как за маской, — культ мужчины-владельца (так кое-кто ошибочно писал о ней в наивной мужской гордыне). Ибо сама суть ее творчества, начиная с ранних стилизаций, — это дистанция. У того, кто ее читает, возникает неясное воспоминание об идущих от Платона рассказах о путях души, вступившей в материю, но хранящей память о стране, откуда она родом, о небе чистых Идей. Это очень древняя традиция, то и дело обновляемая гностическим дуализмом, христианским и буддийским. Поэтому, общаясь с внутренней историей этой поэтессы, мы склонны верить, что нашу земную юдоль ненадолго посетил необычный гость, хоть и близкий к земле, но не совсем к ней приписанный.

Я упоминал о средневеково-барочной родословной Свирщинской. Она начинала с образов барочного изобилия, приправляла их средневековой польской речью и продолжала, при разных обстоятельствах, писать диалог души и тела. Некогда этой религиозной и философской тематикой занимались только мужчины, однако наверняка были и женщины, которые по-своему думали об этом, хоть и не фиксировали своих размышлений.

Я стремился воздать должное Анне Свирщинской, называя ее имя среди великих имен польской поэзии и переводя ее произведения на английский. Я отдавал себе отчет в том, что присутствую лишь при начале ее посмертной славы, а ее наследию будут посвящены еще многие труды. Вместе с тем можно сказать, что какую бы форму ни приняли в Польше исследования феминизма, и они не обойдутся без цитирования ее стихов. Если я подчеркивал универсальное значение ее поэзии, это не значит, будто я хотел забыть о нравственной перемене, которая совершилась в XIX и XX веке и привела не только к равенству полов, но и к новому качеству литературы благодаря участию женщин, с их отличным от мужского чувствованием и видением. Выдающиеся личности таких женщин, как Свирщинская, помимо того, что они были неповторимы, имеют и эту огромную заслугу.

Перевел Андрей Базилевский

Предисловие к книге А. Свирщинской «Поэзия» (Варшава, 1997).

ОБ АННЕ СВИРЩИНСКОЙ

Анна Свирщинская (1909–1984) после блестящего дебюта в 1936 г. осталась поэтом недооцененным, на что были разные причины, отчасти связанные с историей страны, так как после войны ее стихи долго не издавались. Впрочем, она созрела поздно и останется в летописи поэзии одним из феноменов творческой энергии, набирающей силу к старости.

Ход времени не повредил ее поэзии, напротив — подчеркнул ее непреходящую ценность, и теперь — без колебаний утверждаю это — Свирщинская должна быть отнесена к крупнейшим поэтическим индивидуальностям в истории польской литературы. Полное собрание стихотворений, бесспорно, упрочит ее статус классика.

Она родилась 7 января 1909 г. в Варшаве, была единственным ребенком художника Яна Сверчинского и Станиславы, урожденной Боярской. Фамилия Свирщинская, отличная от фамилии отца, возникла из-за ошибки русского чиновника, выписывавшего метрику, но она никогда этой фамилии не меняла. В детстве она испытала, что такое крайняя бедность. Жила и готовила уроки в мастерской отца, который не шел ни на какие жизненные компромиссы и был всецело предан своему художественному призванию.

Анна собиралась стать художницей, но отсутствие средств заставило ее отказаться от учебы в Академии художеств и поступить на факультет польской филологии. На ее раннюю поэзию оказали влияние мировая живопись, знакомая ей по альбомам, которые приносил в дом отец, и старопольская поэзия. В 1932 г. она окончила университет. В 1934 г. получила (вместе с Тадеушем Холлендером и Вацлавом Гусарским) премию «Ведомостей литератских» («Литературных ведомостей») за стихотворение «Полдень». С 1936 г. до начала войны работала в Союзе польских учителей редактором городского варианта журнала «Пломычек». В 1936 г. участвовала в забастовке протеста, объявленной Союзом.

Ее первая книга, «Стихи и проза», вышла «за счет автора» в 1936 г. и в литературной среде была признана событием. Всякий, кто прочел эту книгу, не мог не запомнить имя Свирщинской и с тех пор многого от нее ожидал. Несомненно, книга прежде всего свидетельствовала о том, что воображение

поэтессы питается современным искусством, однако ее стилизации и миниатюры предвещали в поэзии нечто новое. В отношении версификации они не были родственны ни авангарду, ни «Скамандру», хотя напоминали юношеское творчество некоторых скамандритов (особенно поэтическую прозу Ивашкевича) и французских поэтов, которых те переводили. Можно сказать, она дебютировала под знаком Рембо, а в живописи — Таможенника Руссо. Если сравнить ранние произведения Свирщинской со стихами ее последователей, писавших в 60-е и 70-е годы, можно найти определенные общие черты, хотя доказать, что они ее читали, было бы трудно.

Переживания лет оккупации оказались ключевыми для поэтессы, тут можно говорить о переломе. Тогда она зарабатывала в Варшаве на жизнь физическим трудом, была продавщицей, сиделкой в больнице и участвовала в подпольной литературной жизни. Получила премию на подпольном конкурсе за стихотворение «1941 год» (независимо от этого стихотворение было опубликовано в моей антологии «Независимая песнь», 1942) и вторую премию за пьесу об Орфее. Во время Варшавского восстания была санитаркой в госпитале и, как сама рассказывала, в течение часа стояла у стенки, ожидая расстрела. О военной Варшаве она пыталась писать сразу после войны, используя в новых целях ранее найденную форму стихотворения в прозе, но еще не скоро выработала стиль, способный поднять эту тему. Итогом долгих поисков стала книга стихов «Я строила баррикаду» (1974). Такого свидетельства не дал больше никто кроме Мирона Бялошевского в «Дневнике варшавского восстания». Эта книга занимает особое место и в польской, и в мировой поэзии как поэтический репортаж об одной из великих трагедий XX века. В этом репортаже более всего очевидна забота о точности и предельной сжатости, но предмет его — не столько ход событий, сколько позиции и поступки людей, их героизм, страх, эгоизм, самоотверженность. Запечатлеть память убитого города выпало не романтической поэзии двадцатилетних — Бачинского, Гайцы, Тшебинского, — а именно Свирщинской, которая была на десять лет старше их. Ее сдержанность, выработанная в 30-е годы в поэзии несколько ироничной, шутливой, больше соответствовала замыслу, чем пафос подвига и жертвенности.

После войны Свирщинская поселилась в Кракове. У нее была репутация скорее литератора средней руки, чем поэта. Она писала стихи для детей, пьесы для театра и радио. Похоже, что она, будучи весьма требовательна к себе, держала свои стихи в

ящике письменного стола, лишь немного отдавая в печать, и, как и в случае стихов о войне, постепенно искала средства выражения. К счастью, один из ее сборников снабжен авторским вступлением, где биографические сведения сочетаются с изложением принципов поэтики. Это очень важный текст, он содержит одну из интереснейших программ польской поэзии нашего столетия. Свирщинская предстает здесь как поэт поколения, которому не близки ни «Скамандр», ни краковский авангард. Знаменателен акцент на содержание, в каждом стихотворении требующее своей формы, что совершенно противоположно вошедшему в современный обиход предпочтению формального новаторства. Свирщинская идет настолько далеко, что советует освободиться от собственного стиля. Впрочем, лучше всего она сформулировала это сама, я лишь обращаю внимание на ее высказывание, опубликованное в небольшой книжке.

Нетрудно понять, почему такой подход обрекал Свирщинскую на конфликты. Ведь он не соответствовал ни образцам авангарда, ни соцреализму. Правда, стиль абсолютно «нагой», прозрачный, лишенный, насколько возможно, метафор, был, очевидно, и целью Тадеуша Ружевиша. Два эти поэта развивались параллельно. Между ними есть известное сходство.

Конечно, надо принять во внимание и политические обстоятельства. За десять лет, с 1945 по 1955 г., не вышло ни одной книги Свирщинской, только после «оттепели» появилась «Избранная лирика» (1958). Потом должно было пройти девять лет, прежде чем она выпустила «Черные слова» (1967), подражания африканской народной поэзии, ставшие словно продолжением ее довоенных упражнений в стилизации, но и доработкой собственного стиля в любовной лирике. Прошло еще четыре года, прежде чем на полках книжных магазинов появился «Ветер» (1970) — книга, открывшая ее последний, самый плодотворный период.

Темы зрелой Свирщинской — это судьба женщины и секс. Обе темы в ее трактовке были неприязненно восприняты многими читателями. Ее феминизм рожден сочувственным вниманием к горькой участи женщин, которыми помыкают мужчины. Но разве в польской народной песне Кася, которая едет венчаться, не просит Господа Иисуса о счастье, хотя знает, что «идет под кулак Яся»? Разве пьянство и битье женщин издавна не принадлежат к атрибутам мужественности в польской народной культуре, указывая, что, несмотря на латинизацию, страна сохраняет сильные славянские черты? Свирщинская

говорит об этом столь резко, что кажется, будто она провозглашает борьбу полов наподобие борьбы классов или рас. Мужчины — господствующий класс, женщины — пролетариат. Так что ее защита женщин не совсем похожа на ставший модным несколько позднее феминизм, пришедший с Запада, хотя, надо признать, у нее есть нотки веры в Богиню Матриархата, что принесет человечеству новые десять заповедей, не запятнанных кровью. И вновь, как в стихах о войне, довоенные миниатюры наполняются реалистическим содержанием. Больше всего трогают краткие, в несколько слов, сценки или мини-повести о старых женщинах. Ее книга «Я баба» (1972) — манифест и вызов. Она состоит из двух, в равной степени жестких, частей: 1) о судьбе женщин, 2) о собственных любовных переживаниях. Между частями есть связь — уже в самом отказе от согласия на пассивную социальную роль, поскольку автор выступает как независимый центр воли: «Я построила дом, / Я выбрала мужчину». Она выбирает, она строит, она рождает, она каждый день совершает пробежки ради здоровья, она пишет.

В любовной части есть очень красивые стихи, которые, однако, не могли нравиться мужчинам. Но, хотя они шокировали, несколько критиков приветствовали их как неожиданное извержение таланта. Заметим: ни одна из польских поэтесс не отважилась так открыто писать о сексе, как Свирщинская в трех циклах той книги, которые она назвала поэмами: «Любовь Фелиции», «Любовь Антонины», «Любовь Стефании». Книгу открывает пролог — «Женщина беседует со своим бедром». Это ода женским гениталиям, которые польский язык одарил насмешливыми и презрительными наименованиями, так что слово «бедро» здесь — уступка условности. Таких уступок немного, хотя бы потому, что автор оды не стесняется открыто писать об оргазме. Возможно, самая интересная черта этих любовных стихотворений — отсутствие в них исповедальности. Вопреки литературе исповеди с ее фиксацией чувств переживающего и повествующего «я», здесь перед нами нечто вроде исследования возможных типов чувственных связей между мужчиной и женщиной как биологическими существами. Или, иначе говоря, словно в эротических рисунках, где властвует линия, мужчина и женщина сводятся к каллиграфии; не важны ни их лица, ни фамилии — отсюда явно произвольное наименование трех типов именами Фелиции, Антонины и Стефании. Отметим в скобках, что эти эротические этюды принадлежат шестидесятилетней женщине.

Свирщинская как «бесстыдная баба» вызывала гнев и тревогу у мужской части читающей публики и своим феминизмом, и тем, что подчеркивала ведущую роль женщины в любовном союзе, не без оттенка презрения к мужчине, из-за чего иногда производила впечатление ведьмы, «зловещей фигуры». То, что критики выделили особую категорию «женской литературы», позволяло присвоить ей высокий ранг, но лишь в пределах этой особой категории, куда включали также Марию Павликовскую и Халину Посвятовскую. Не последней причиной того, что она осталась недооцененной, был и эмоциональный тон, не гармонирующий с обычаями католической страны.

Агностицизм был довольно типичен для ее круга прогрессивной интеллигенции, но часто бывал заслонен патриотической риторикой; у нее же, хотя молитва и патриотизм ненадолго соединяются в стихотворении «1941 год», впоследствии две этих сферы разделены — так, например, в книге «Я строила баррикаду» нет религиозных акцентов.

Философия Свирщинской крайне соматична, на первый план выступает плоть. Ее зрелое поэтическое творчество можно назвать разговором с собственным телом. Именно так — «Talking to my body» — озаглавлен сборник ее стихотворений на английском языке в переводе, сделанном мною и Леонардом Натаном. В раздвоении на душу и тело — глубинная оригинальность ее поэзии. Это не что иное, как средневековое и барочное переживание бренности своего телесного существования или даже участие в танце смерти. Со времен Николая Семпа-Шажинского в польской поэзии не было столь метафизического — именно в таком смысле — поэта, как Свирщинская. У нее, агностика, сознание не может опереться на веру в бессмертие души и жизнь вечную, и душа тем более одинока в своем превосходстве над телом. Только в последних стихах поэтесса, кажется, снискала благодать великого равновесия и покоя. Эта проблематика универсальна, поэтому причислять Свирщинскую к какой-то одной узкой категории было бы недоразумением.

Название книги «Счастлива, как собачий хвост» (1978) дает представление еще об одном элементе этой поэзии — юморе. Она постоянно соединяла трагизм и комизм, как пристало человеку, осознающему их удивительное сплетение в жизни. Ее чувство юмора принимало различные формы — от беззаботной игры в раннем творчестве, через гротеск и ужас военных сцен, до легкости тона в стихах, написанных в старости о том, какое счастье — бежать, сгребать сено, даже стоять на голове. Столь серьезная в своем сочувственном наблюдении, она в то же

время умеет шутить над своей серьезностью, что может означать еще один вариант раздвоения: душа и тело — а также сознание, отделяющееся от сознания.

Важна в ее творчестве последняя книга, изданная посмертно, — «Страдание и радость» (1985). В ней есть цикл об отце и матери, что является редкостью как в мировой, так и в польской поэзии. Влияние психологии, особенно фрейдизма, на размышления о семье склоняло к тому, чтобы обратить внимание на личность, на ее травмы и комплексы, имеющие исток в переживаниях детства. Отсюда мода объяснять все отступления от нормы дурными условиями в доме, что на практике означало возлагать ответственность на родителей. Так называемое «трудное детство» должно было объяснить наркоманию или то, что данный субъект кому-то перерезал горло. К примеру, в американской литературе следствие этой моды — описания родителей-чудовищ. В Польше, казалось бы, не должны действовать эти причины, но в польской поэзии происходит странная субъективизация: «я» раскрывается за счет вытеснения других людей, что не благоприятствует описаниям жизни в семье. А цикл Свирщинской — это песнь любви к родителям. Или, точнее, как обычно у нее, репортаж, где жизнь двух людей показана на польском историческом фоне: при царизме, во время первой мировой войны, в межвоенное двадцатилетие, во время второй войны, в послевоенные годы. Фон намечен несколькими штрихами, но как нельзя более существен для биографии героев. Вот отец — мальчишка, распространитель листовок в 1905 г., вот голодная военная Варшава и мать, прелестная панна Стася из Остроленки, которая вышла замуж за художника, стоит в очереди за хлебом, вот мастерская отца и бедность 20-х годов, немецкая бомба, уничтожившая все работы отца, вот послевоенный Краков. Это немало, когда два человека получают такой памятник любви и благодарности от дочери. Но мы бы не были в этом уверены, если бы прикладная цель — увековечить память родителей — не дала поэзию столь высокой пробы. Поэтому, стиль Свирщинской менялся четырежды и, меняясь, все лучше служил ее замыслам: в стихах о войне, в стихах о женских горестях, в любовных стихах и в стихах о родителях. Всякий раз значительность ее поэзии обеспечена весомостью содержания. Другими словами, ей есть о чем рассказать. Мотив живописи отца, то, как он постоянно исправлял и переделывал картины, — мы чувствуем это — важен так же, как верность дочери его артистическому упорству: важен, ибо подлиннен. Эта эмоциональная связь с отцом рождает, кстати, одну из самых пронзительных польских элегий — «Стираю рубашку»; а

вершина любовной лирики Свирщинской — стихи о встрече с нищенкой «Такая же внутри».

В посмертной книге «Страдание и радость» мы найдем и цикл «Стихи о друге», краткое автобиографическое повествование еще об одном, позднем, любовном союзе, соответствие трем циклам книги «Я баба». Старые женщины постоянно присутствуют у Свирщинской, здесь же она сама выступает как героиня любовной истории двух старых людей, традиционно воспринимаемой как нечто неуместное. Следует радоваться, что эта история написана, коль скоро она стала причиной еще нескольких высших поэтических достижений, запечатлевших прощальное благословение, посылаемое жизни. То же можно сказать и о последнем стихотворении, написанном накануне онкологической операции. Отважная, трезвомыслящая, спокойная, она признаёт, что была грешницей, принимает приговор и, хотя не произносит имени Высшей Силы, предается ей с верой и надеждой.

Существует теория, согласно которой лирическая поэзия складывается из крупиц биографии данного поэта, то есть, читая, мы заполняем пробелы собственным воображением и видим автора в разных ситуациях, словно героя романа. К некоторым типам поэзии это применимо, но только к некоторым. Мы немного узнаём о личной судьбе Кохановского из его стихов, за исключением «Тренов», которые, впрочем, были отступлением от принятого в его время принципа «декорума» (уместности), предписывающего сдержанность в раскрытии личного мира перед глазами читателя. Несколько столетий влияние классицизма содействовало литературному костюму и маске, так что, скажем, о личности Расина мы узнаём лишь опосредованно, из его трагедий, а о страстях епископа Игнатия Красицкого знаем весьма немного, кроме того, что он любил сладости. В этом смысле романтизм был огромным переворотом, и «Крымские сонеты» Мицкевича не случайно взбудоражили варшавских классицистов. Мелодраматически необузданный девятнадцатый век дает много примеров исповедальной лирики; во всяком случае, тогда утвердился образец говорящего субъекта, неотделимого от автора. Дело несколько осложняется в сменяющихся одна другую литературных школах новейшего времени, поскольку появляются призывы к «стыдливости чувств», метафорической номинации и поиску «объективных соответствий». Столкновение этих лозунгов со склонностью поэтов упорно твердить о самих себе дает различные эффекты. Размышляя о Свирщинской, невозможно избежать вопроса о том, какова в ее случае связь поэзии с биографией. Это очень

специфическая связь, ее нелегко уловить, главным образом из-за таких черт поэтессы, как скептический и насмешливый ум, мятежный характер, не признающий моральных ограничений, из-за ее чувственной натуры, способной впадать в любовный экстаз. Такой комплекс недостатков и достоинств, подчас противоречивых, затрудняет жизнеописание. А ведь редко встречается поэзия столь автобиографичная, хотя ее автор рассказывает о других людях, а если уж говорит о себе, то как бы наблюдая со стороны.

Мне кажется, знакомство с ее творчеством надо начинать со стихов об отце и матери, потом попытаться представить ее себе как студентку, некрасивую, закомплексованную (по ее собственным словам), бегавшую по зажиточным семьям с уроками. С филологического факультета она вынесла восторг перед польским языком XV века, и это, наряду с живописью, сформировало ее довоенную поэзию и то, что она писала в начале войны. Потом она менялась, все более освобождаясь от всякой скованности, хотя не скоро ощутила себя собой и заговорила в полный голос. Эта восхитившая меня дебютантка моего поколения не сразу предстала передо мной конкретной личностью, хотя я тогда ее где-то видел. Конкретной личностью она стала только на подпольных авторских вечерах в оккупированной Варшаве, но не очень запомнилась. Зато когда я встретил ее во время приезда в Польшу в 1981 г., в Союзе литераторов на улице Крупничей в Кракове, она показалась мне совершенно необычной. Волшебница из сказки: лицо удлинненное, но плотно вылепленное, крепкая, загорелая, с большой гривой седых волос. Вероятно, эта внешность соответствовала превращению робкой поэтичной девочки во властную, сознающую свою силу женщину из книги «Я баба».

Как уже сказано, я против того, чтобы славить Свирщинскую как автора любовной лирики и тем самым замыкать ее в рамках женской поэзии. Даже ее своеобразие и некую эксцентричность в общении с людьми не следует подчеркивать, если это мешает пониманию всей весомости ее наследия. В творчестве она предстает полным человеком. Она познала нужду, тяжелый труд, наслаждение, несчастья — свои и своей страны, материнство, бунт против условностей, восторг перед искусством, интеллектуальное упоение, сочувствие, отчаяние, осознала свои грехи, победы и поражения. В истории польской культуры это первый пример женщины, которая — уже по ту сторону барьеров, долго отделявших ее от пространства, доступного только мужчине. Ей не нужно напрягаться, чтобы ее признали равной, как это делают профессиональные феминистки. Размышления об участии

собственного пола не переходят у нее в «грубый и надсадный вопль женственности», за которым, как за маской, — культ мужчины-властителя (так кое-кто ошибочно писал о ней в наивной мужской гордыне). Ибо сама суть ее творчества, начиная с ранних стилизаций, — это дистанция. У того, кто ее читает, возникает неясное воспоминание об идущих от Платона рассказах о путях души, вступившей в материю, но хранящей память о стране, откуда она родом, о небе чистых Идей. Это очень древняя традиция, то и дело обновляемая гностическим дуализмом, христианским и буддийским. Поэтому, общаясь с внутренней историей этой поэтессы, мы склонны верить, что нашу земную юдоль ненадолго посетил необычный гость, хоть и близкий к земле, но не совсем к ней приписанный.

Я упоминал о средневеково-барочной родословной Свирщинской. Она начинала с образов барочного изобилия, приправляла их средневековой польской речью и продолжала, при разных обстоятельствах, писать диалог души и тела. Некогда этой религиозной и философской тематикой занимались только мужчины, однако наверняка были и женщины, которые по-своему думали об этом, хоть и не фиксировали своих размышлений.

Я стремился воздать должное Анне Свирщинской, называя ее имя среди великих имен польской поэзии и переводя ее произведения на английский. Я отдавал себе отчет в том, что присутствую лишь при начале ее посмертной славы, а ее наследию будут посвящены еще многие труды. Вместе с тем можно сказать, что какую бы форму ни приняли в Польше исследования феминизма, и они не обойдутся без цитирования ее стихов. Если я подчеркивал универсальное значение ее поэзии, это не значит, будто я хотел забыть о нравственной перемене, которая совершилась в XIX и XX веке и привела не только к равенству полов, но и к новому качеству литературы благодаря участию женщин, с их отличным от мужского чувствованием и видением. Выдающиеся личности таких женщин, как Свирщинская, помимо того, что они были неповторимы, имеют и эту огромную заслугу.

Перевел Андрей Базилевский

Предисловие к книге А. Свирщинской «Поэзия» (Варшава, 1997).

ВЛЮБЛЕННЫЕ ИЗ ЛЕГНИЦЫ

— В Легнице есть могила русской Джульетты, которая «покончила с собой от любви» к польскому Ромео. Она и послужила прототипом Веры, героини кинофильма «Малая Москва».

— Ее историю мне рассказала моя мама. Всего-навсего несколько фраз, скорее легенда, чем факты. Остальное надо было додумать, закрутить действие, написать нормальный сценарий. Я с самого начала не стремился отыскивать героев тех событий, понимая, что всё это может быть еще слишком болезненным. Да и есть ли у меня право требовать от них вновь переживать эмоции тех лет? В конце концов кино — не самое главное на свете! Несмотря на это в России «Малую Москву» воспринимают почти как документальный фильм о том времени. Даже удивлялись, почему никто у них не снял такую картину.

— Говорят, недавно отозвался сын Лидии Новиковой, ставшей прототипом Веры.

— Он живет в Минске и только из фильма узнал, каким культом окружена могила его матери в Легнице. Он написал письмо президенту (мэру) города, что хотел бы найти свидетелей тех событий, потому что, когда мать умерла, ему было всего восемь лет. Президент города Тадеуш Кшаковский пригласил Новикова и меня на встречу в Легницу. Некоторые надеются, что отзовется и тот поляк, который был третьей вершиной треугольника...

— Легница твоего детства — город со стотысячным населением, где было расквартировано 60 тысяч советских военных. Крупнейшее сосредоточения советских войск за пределами СССР.

— Это была стратегическая цель на всех картах НАТО. В Легнице действовали два военных аэродрома, была одна из самых длинных взлетных полос в Европе. 36 противоатомных убежищ для МИГов новейшего поколения и ни одного — для людей. Мы показываем эти убежища в начале фильма — только раздвижные двери были толщиной в метр десять сантиметров! Было известно, что в случае войны с Западом в первую очередь подвергнется уничтожению Легница. Поэтому в городе не делалось никаких инвестиций, дороги не ремонтировались.

Помню, как-то летом мы красили стены в нашей квартире, и к нам приехала тетя из Тарнова. «И что вы мучаетесь — всё равно либо Запад вас разбомбит, либо вернутся немцы и всё у вас отберут». Так думали все.

— Ты рассказываешь в фильме историю 40-летней давности, но семья самоубийцы по сей день не знает, что случилось на самом деле.

— Я тоже не знаю, поэтому даю собственное истолкование судьбы героини. Советский гарнизон в Легнице был окружен стеной с колючей проволокой. Даже если кто-то из них оказывался причиной несчастного случая, например сбил автомашиной пешехода, — следствие обрывалось на линии стены. В 1958 г. была даже создана польско-советская комиссия, чтобы в случае чего регулировать спорные вопросы. Да только в архиве этой комиссии нет ни одной записи. А я же собственными глазами видел... Я возвращался из школы, на углу стоял советский солдат, наверное сбежал с вахты на польскую сторону. «Люди, помните меня!» ^[1] — кричал он. И застрелился. Приехала милиция, сообщили в гарнизон, забрали тело, засыпали песком кровь. Мы спрашивали потом у знакомых русских, что же произошло. Они ничего не знали. Наверное, записали это как несчастный случай на полигоне. Для подростка, на глазах которого человек разнес себе голову выстрелом, это стало, что ни говори, травматическим переживанием.

— Ты жил с родителями неподалеку от стены.

— Наша улица Подхорунжих была ответвлением Окружной, а в конце Окружной уже были стена, вахта и ворота. Туда въезжали военные автомашины, на автобусах возили детей в школу. Общаться можно было только через окно, официально им нельзя было никуда выходить. Неофициально были и общие игры, и общие драки. Однажды я вернулся домой с синяком под глазом и говорю маме, что мы дрались с кацапами. «Не говорите: кацапы, они такие же люди, как мы», — сказала мама. Русские женщины приносили маме какие-то вещи на продажу, много рассказывали, она им сочувствовала. Со временем я тоже понял, что наши оккупанты сами жили при оккупации: под слежкой КГБ, запуганные, запертые.

— Легально встречались только на праздновании годовщин октябрьской революции.

— К памятнику Дружбы на Славянской площади стогнали все школы, была делегация советских школьников, торжественное

собрание и концерт. Каменные статуи: польский солдат, советский солдат и ребенок — вошли в анекдот как первый в Европе памятник гомосексуалистам, усыновившим ребенка. Когда я учился в лицее, русские уже отваживались переодеваться в гражданские шмотки и в баре «Вярус» выпивали с поляками. Попрекали друг друга историческими ранами, бывали открытые конфликты и драки.

— Я ездила с родителями и братом в ГДР, и всегда в окрестностях Легницы на шоссе вместо грибов продавали золото.

— Польско-русская торговля развернулась во второй половине 60-х и в 70-е годы. Существовало два рынка, где для видимости что-то выкладывали на прилавок, но настоящий товар, померенный, взвешенный, поштучно и оптом, прятали в штанах, под пальто, в подсобках. Думаю, через Легницу прошли тонны золота, бриллианты, фотоаппараты, часы. Русские привозили что только можно и передавали полякам на продажу.

— Что они покупали?

— Крупу, муку, шерсть в мотках и отсылали в Советский Союз. Я был поражен: на уроках учу, что они летают в космос, занимают первое место в мире по производству стали, вот-вот догонят и перегонят Америку, а тут эти граждане империи просят купить им мешок крупы. Образ высеченного из каменной глыбы кацапа начал рушиться в моих глазах. В то же время я наткнулся на романы Юрия Трифонова, которые дополнили психологическую картину людей, живших за стеной.

— Трифонов писал о московской интеллигенции.

— Но атмосфера страха была та же самая. И привычка не говорить о важных вопросах в квартире, потому что возможна прослушка или донесут соседи. Мы шли домой, чтобы спокойно поговорить. А они выходили поговорить на улицу! Причем так, чтобы об этом не узнали другие русские, даже их друзья. Потому что КГБ могло сломать друзей, как в фильме вынудило армян предать Веру. Это была такая система, я это знал и видел, мне не пришлось в сценарии много придумывать. И история с влюбленной русской произошла на самом деле, и армянские крестины, и красную звезду сбивали с детской могилы в 90-е годы.

— Как выглядело твое детство в бывшей немецкой, польско-советской Легнице?

— Мы играли в войну, разделившись на поляков и немцев. Время от времени, прихватив грабли, мы отправлялись вылавливать оружие в заиленных речках и прудах. Пистолетов было столько, что они нас вообще перестали интересовать. Фаустпатрон — вот это было нечто. Один раз я вытащил длинный бельгийский штуцер с оптическим прицелом, приклад был немного подпорчен. Нам встретился знакомый капитан, страстный любитель охоты, и говорит: «Вальдек, а не продашь?» Я запросил самую высокую цену: десять мятных леденцов (длинных) по цене один злотый 10 грошей за упаковку, то есть целых 11 злотых.

— Взрослые знали об этих ваших игрушках?

— Финал был таким, что кто-то из соседей донес на нас в милицию. Они приехали, и из сарая у Вильков, где у нас был склад, вытащили несколько десятков гранат. Разложили их во дворе, возле каждой гранаты поставили номерок, сфотографировали, вызвали семьи. Разыгралась ставшая знаменитой на улице Подхорунжих сцена допроса моей матери. «Где находятся члены вооруженной организации, которая намеревается силой свергнуть существующий строй?» — В летних лагерях, — ответила мама, так как это было время каникул, и мы с братьями уехали на целый месяц.

— Флирт с русскими девушками у тебя тоже был?

— Первой девушкой, с которой я в своей жизни поцеловался, была Нонна. К ней подбивали клинья я и русский парень Сашка, мне было тогда лет 12, может, 13. Нонна выбрала меня и пригласила к себе домой. Я пробрался через стену, постучал, вхожу. Родителей нет, на кровати горкой лежат подушки. Мы начинаем целоваться, по-настоящему, с языком. Я — счастлив, только ужасно ухо горит. «Наверное, таковы симптомы, — думаю я, — когда целуешься с девушкой, то у тебя ухо горит». Но это не секс обжигал, это ее мать обрывала мне ухо: «Мальчик, что делаешь? Убирайся отсюда!»

— То есть в гарнизон проникнуть было можно?

— Теоретически вход за стену: на полигон, на аэродром и в жилой квартал — был запрещен. Но для детей запреты, заборы, колючая проволока лишь создавали дополнительное притяжение. Мы пролезали через тайные дырки, чтобы посмотреть, почему они заперты и почему им нельзя выходить.

Для нас уже было ясно, что за этой стеной — смесь народов, представители 15 советских республик.

— Легница тоже был национально неоднородна.

— Тут жили поляки из центральной части страны и переселенцы из-за Буга, украинцы, лемки, репатрианты из Франции, евреи, политэмигранты из Греции. Лев Рывин, который прибыл с последним эшелон переселенцев из СССР в Польшу, жил на Солнечной, через две улицы от меня. В лицее №1 им. Костюшко учились Изабелла Цивинская, кинорежиссер Роланд Ровинский, актер Томаш Кот, Тадеуш Ляхович, олимпийский чемпион Даниэль Вашкевич и десятка полтора профессоров. Легница с ее постоянной атмосферой опасности и застоя, давала мощного пинка под зад, человеку хотелось оттуда вырваться.

— Зачем твои родители переселились сюда из Тарнова?

— Подозреваю, что им хотелось в жизни приключений. «Дома стоят пустые, с мебелью, есть работа, о которой только можно мечтать». Мой тесть говорил: «Вальдек, это же был настоящий Дикий Запад. Мне тогда было 19 лет, и я отправился туда, бросив после первого курса Главное коммерческое училище в Варшаве, потому что хотел жить интенсивно». Или приезжает кто-нибудь из деревни из-за восточной границы, и что он видел? «Господи, да ведь тут вода из крана течет, холодная и горячая, и печки-„юнкеры”». И везет сюда всю семью.

— Мы знаем об этом хотя бы по фильму «Все свои» Сильвестра Хентинского.

— Однако Западные земли еще ждут своего представления в искусстве, одного Хентинского недостаточно! В свое время к годовщине театра в Еленей-Гуре я вместе с Кшиштофом Копкой готовил к постановке его пьесу «Второй день свободы». Это была история первой театральной премьеры после войны. Кшиштоф отыскал невероятные архивные материалы, вел переговоры с директором Стефанией Доманской, она жила в Сколимове. Еленя-Гура не была разрушена, и приехавшая туда группа актеров еще застала ванн с горячей водой и мылом, сохранилось множество декораций в подсобных помещениях театра, искусственная трава и прочие чудеса. Целую неделю они наслаждались купанием и запускали сценические механизмы, приходя в восторг от того, что те действуют. Немецкие музыканты из театрального оркестра, которые не уехали, смотрели на них, как на дикарей. Поставили «Мечь» Фредро. В то время действовало распоряжение,

согласно которому перед началом каждого спектакля или киносеанса на Западных землях обязательно должна была исполняться патриотическая песня «Рота». Перед поднятием занавеса из оркестровой ямы доносился шепот: «Айн, цвай, драй», и немецкий оркестр наяривал: «Не бросим землю, откуда наш род!»

— «Это как раз то, что нам нужно — месть. Только вот за пепелища мы отплатим германскому варварству словом поэта», — одобрила спектакль партийная деятельница.

— С комитетом ППР случались просто анекдотические ситуации. «Какую пьесу, товарищи, вы хотите поставить?» — спросил партийный секретарь. — «Месть». — «Это уже кто-то написал?» А после премьеры он обвинил труппу в том, что в пьесе прославляются господствовавшие классы шляхетской Польши. Положение спас Деймек, который играл Папкина: «Это вовсе не мещанская комедия, и не пьеса о шляхте. Это произведение о каменщиках!».

— Ты также ставил спектакль по пьесе Ежи Лукоша «Гауптман», о немецком лауреате Нобелевской премии, многие годы жившем в Карконоше.

— Сегодня мало кто помнит о нем, а это была весьма любопытная фигура. Сначала он был в хороших отношениях с гитлеровцами, получил перстень с печатью от Геринга. Приходит советская армия, и к Гауптману является некто Соколов в целях денацификации нобелевского лауреата. Гауптман, обращаясь к нему, говорит: «Прошу вас, садитесь, не надо стучать кулаком по столу, читайте». И вытаскивает из-под тарелки письмо от Ленина, в котором вождь революции поздравляет его с драмой «Ткачи» и выражает восхищение остальными его произведениями. Соколов вытягивается перед ним по стойке смирно и спрашивает: «В чем вы нуждаетесь, товарищ?» — «Шампанское, коньяк и хороший кокс из Валбжиха», — у Гауптмана был большой дом, который надо было отапливать. Так начался его роман с советской Россией. Разумеется, его хотели использовать, якобы даже в качестве президента ГДР или председателя Союза писателей. Но писатель вскоре умер, и его тело то ли пять, то ли девять недель — боюсь ошибиться — пролежало непогребенным, так как польская, советская и немецкая власти препирались насчет того, где ему упокоиться. Выиграла в конце концов вдова, и похороны состоялись на острове Хиддензее возле Ругии, где у них был второй дом. Вывод: кто всю жизнь заигрывал с режимами, тот за это заплатит, пусть даже после смерти.

— Но ведь ты тоже писал письма Войцеху Ярузельскому и Леониду Брежневу.

— В лицее я поспорил с товарищами, что запишусь добровольцем во Вьетнам. Я написал письмо министру национальной обороны, что у меня пятерка по военной подготовке и высшая отметка по метанию гранаты и что я хочу принять участие в войне, которая ведется на братской земле Вьетнама в защиту строящегося там социализма. Класс провожал меня до почтового ящика.

— Получил ответ?

— Да, спустя примерно месяц возвращаюсь домой, а моя мама плачет: «Вальдек, я должна собрать тебя, завтра ты едешь в Варшаву, а оттуда тебя отправят во Вьетнам». У меня челюсть отвисла: я ведь это в шутку затеял, а они отнеслись к этому серьезно. Причем перед экзаменами на аттестат! Я открываю дрожащими руками письмо, вижу печать министерства обороны и читаю: «В ответ на ваше письмо, гражданин такой-то, сообщаем, что на территории Польской Народной Республики не проводится набор добровольцев... В случае изменения ситуации вам будет сообщено дополнительно». Подписано: генерал, секретарь и все звания. Я потом это письмо одалживал своим товарищам за 5 злотых, потому что их родители тоже хотели его прочесть, и кто-то в конце концов его у меня украл. Но моего отца и директора школы вызвали в комитет партии. Отец там заверил их, что я человек, горячо и эмоционально относящийся к общественным вопросам, что я смотрю «Телевизионные новости», читаю газеты и очень все это переживаю. Секретарь партии посоветовал отцу остудить мой интернационалистический пыл: «Надо ему деликатно объяснить, что то, что пишут в газетах, не всегда правда».

— А от Брежнева чего ты хотел?

— Чтобы он разрешил мне снять документальный фильм о Байкало-Амурской магистрали. «Я думаю, что никто не раскрыл до сих пор истинное число жертв, которое поглотило строительство этой трассы, и я хотел бы восполнить этот пробел». Ответа из Кремля я не получил, но существование этой переписки отражено в моих документах.

— До учебы в киношколе ты окончил полонистику во Вроцлаве.

— На режиссерский факультет тогда принимали только после получения высшего образования. Я уже отучился в вузе

половину положенного срока, когда это положение было отменено, однако несмотря на это мы с моим сокурсником Петром Лазаркевичем все же решили закончить учебу на полонистике. Нам было интересно. И Вроцлав тоже был нам интересен: действовали дискуссионные киноклубы, был Гротовский, был «Каламбур», Богуслав Литвинец устраивал Фестивали открытого театра. Приезжали Питер Брук, Юзеф Шайна, величайшие режиссеры, привозили известнейшие в мире спектакли. Нам преподавали прекрасные профессора, нам читали расширенный курс современной литературы, магистру Медеку я сдавал церковнославянский, профессор Чаплинский иронизировал: «Если мы говорим о восточных окраинах, то, кажется, ваши родители поверили, что это не польские земли? Чепуха!» Мы оказались в очень хорошем месте и в очень хорошее время. Тогда я переписывался с секретарем воеводского комитета ПОРП, его знали Людвик Друждж.

— Переписывался?!

— Я пытался узнать, почему меня не приняли на работу в университет. По правде говоря, я не рвался на эту работу, но профессор Деглер предложил мне место ассистента, и это была невероятная честь. У меня уже были публикации, я составлял рефераты для студентов, одним словом, идеальный кандидат в научные работники. Я сдал документы, но, к сожалению, партия отвергла мою кандидатуру как не отвечающую тем критериям, которым должен соответствовать социалистический вузовский преподаватель. Черновик письма в воеводский партийный комитет я зачитывал в общежитии, мои товарищи шлифовали стиль: «Положение просто кафкианское, запятая, если вам это что-то говорит, запятая, вот вынесли приговор, запятая, но нет обвинительного акта». Так я стал счастливой жертвой репрессивного аппарата социалистической Польши и пошел учиться на режиссера.

— Какие у тебя об этом воспоминания?

— Прекрасные, но после первого курса меня в дисциплинарном порядке отправили в армию. Катовицкий факультет должен был стать школой янычар, его открыло телевидение для подготовки идеологически грамотных кадров. Наш набор был первым: Анджей Чарнецкий, или «Крысолов», Петр Лазаркевич, моя жена Малгося Коперник, Кшисек Маговский, Яцек Гонсёровский, Кшись Ланг, «Белый морж», «Конь». Окончание курса мы отметили открытым письмом в министерство и в парламентскую комиссию по культуре: мы оказываемся недоучками, нам преподают слишком много политических дисциплин, политэкономии социализма, мы

требуем дополнительных лекций и увеличения числа преподавателей. Холоубек зачитал письмо в Сейме, и бунт — на удивление — закончился счастливо. Деканом факультета стал Эдвард Заичек, который пригласил в качестве преподавателей Кесьлёвского, Жебровского, Занусси. Специально приглашали к нам читать лекции также Кавалеровича, Вайду, Куца, школа изменила свой облик. Но предыдущий декан все же успел отправить меня на целый год в училище офицеров запаса. «Приветствую предводителя бунта (я был старостой курса), к сожалению, я ничего не мог для вас сделать», — и вручил мне повестку в армию.

— И тоже было прекрасно?

— Армия — это отдельная тема для фильма. Я служил год, потом еще месяц, а потом еще дважды меня забирали. Во время военного положения из меня хотели сделать комиссара, я отказался. «Тогда вы попадете на полигон, а уж там с вас семь шкур сдерут, поручик», — пообещал мне полковник из военкомата. И вот мы едем в товарняке в зеленогурские леса, спим в палатках, участвуем в учениях с боевым снаряжением, с химическим оружием, я как командир взвода отвечаю за солдат. Подсовываю им «Тыгодник повшехный» и нелегальщину, и вот приходит командир группировки: «Поручик, на вас было 17 доносов, я все их сжег». С армией мне в конце концов удалось поладить, и мы выиграли учения на тактической полосе. Но когда зимой поступил приказ на двое суток залечь в поле, не разжигая костров, чтобы враг нас не заметил, я велел копать в земле глубокие траншеи. Огонь мы разводили возле кустов, дым ночью стелился как туман, солдаты не мерзли, утром вставали отдохнувшими, выпавшимися. Начались учения, разведка докладывает: перед нами 32 я бригада Бундесвера, захватить цели такие-то и такие, занять города такие-то и такие. Я говорю солдатам: «Цели — это мое дело, на это у меня есть карта, а у вас цель одна: там, по другую сторону, Германия, ясно, что это значит? Это значит, что там сплошные магазины с импортным товаром и та а кие женщины!». Они рванули как ураган, и мы опередили профессионалов.

— Армия — позади, ты заканчиваешь учебу.

— На дворе 1981 год, «Солидарность», фестиваль свободы. Я пишу сценарий по «Обороне Гренады» Казимежа Брандыса в киностудии «Око». Это должна быть дипломная работа о годах сталинизма, заполнение «белых пятен». Объявлено военное положение, литературный руководитель студии Михал Комар интернирован, деятельность студии приостановлена.

Кинематографисты объявляют бойкот «военному» телевидению. И у нас нет возможности защитить дипломы: часовой фильм возьмет только ТВ, а старшие коллеги напоминают: «Господа, в такое время надо молчать». Ладно, мы молчим, но нам понятно: если молчит Анджей Вайда, то все знают, что это в рамках протеста. А кто заметит наше молчание? Сидит, мол, банда неудачников, пьют водку и молчат, потому что сказать им нечего.

— Приговор целому поколению.

— Три года полностью потеряны, работаю в стол. Мы с женой написали сценарий фильма, ставшего позднее моим дебютом: «Отсрочка». Это был первый фильм, запущенный в производство в 1986 г., после отмены бойкота и некоторого ослабления военного положения.

— С Кристиной Яндой и Ежи Радзивиловичем.

— Я уже знал, что не удастся обмануть цензуру по принципу: они мне утвердили одно, а я сниму совсем другое. За плечами у меня уже был 60 - минутный дипломный фильм, в котором после 53 поправок цензуры от картины ничего не осталось. Надо было получить согласие тогдашнего министра кинематографии. Сценарий я опубликовал в подполье, и Ежи Байдор мог запросто сказать: «Вы выбрали карьеру оппозиционного литератора, прощайте». Не сказал — может быть, потому что в фильме рассказывалась история скрывавшегося аковца, а отец Байдора, как я потом узнал, был в АК. За кулисами энергично действовали также Ежи Гофман, руководитель киностудии «Зодиак», Леслав Байер и Сильвек Хентинский, друзья Байдора еще по Вроцлаву. Они ему сказали: «Юрек, каждый министр кинематографии оставляет после себя по крайней мере один фильм. Пропусти этот сценарий». Так оно и случилось.

— Итак, ты снимаешь свой дебютный фильм.

— 1985 год, мы уже почти закончили съемки, осталось несколько последних дней, и тут вмешивается товарищ Свиргонь, зав. отделом культуры ЦК. Директор Михал Заблоцкий говорит: «Вальдек, пришла телеграмма, я должен прекратить съемки. Я отвечу, что киногруппа уже уехала, у тебя есть один день, снимай, сколько сможешь, все возможные сцены, а то с завтрашнего дня у тебя киногруппы уже нет». Мы закончили, я сажусь монтировать и слышу: «Прекращаем монтаж, только, пожалуйста, составьте сцены по очереди и покажите в министерстве». Показ продолжается четыре часа, в

зале сидят Байдор, Гофман и я. Байдор говорит: «Отдел культуры ЦК считает, что за государственные деньги снимается антигосударственный фильм». Он лишает меня права на монтаж, чтобы я не сделал того, что Бугайский: записал на видео и показывал в подполье. Если обстоятельства изменятся, он даст мне знать. Я говорю ему: «Но, пан министр...» — «Мы будем говорить только в официальном порядке, киностудией руководит Ежи Гофман, изложите, пожалуйста, ему свои соображения, а он передаст их мне», — прерывает меня Байдор. Отходит на три шага, возвращается и добавляет: «А в частном порядке: вы сделали прекрасный фильм».

— Шизофрения.

— В итоге Байдор подсказывал мне, как обыграть цензуру, только старое название фильма — «Время наказания» — не удалось отстоять. Мало того, заседание приемной комиссии министр назначил на 22 декабря 1985 г., рассчитывая, что большинство членов комиссии не придет. А между тем пришла Ванда Якубовская, пришли и Петельский, и Козневский — все. И случилось чудо: Якубовской фильм понравился, Козневскому тоже, они проголосовали за прокат в студийных кинотеатрах. Нас отправили на Берлинский фестиваль, где «Отсрочку» купили 11 стран, и фильм сразу зажил своей жизнью.

— «Последний паром» — это 1989 год.

— И последний фильм, запущенный в производство с участием цензуры. Гофман взял на себя личную ответственность за «окончательную художественную форму и идеологическое содержание фильма» — такие обтекаемые фразы тогда использовались. Мы выходим из министерства, я говорю: «Пан Ежи, это значит, теперь вы будете моим цензором?». Гофман, — не знаю, стоит ли это цитировать, — только махнул рукой: «Валяй, не бойся, снимай самый лучший фильм, остальное я беру на себя». Цензор пришел на показ в последний день существования своего учреждения: «Я мог бы вообще не приходить, но очень хотелось картину посмотреть». Поставил какую-то галочку и ушел.

— Кому ты обязан больше всего с точки зрения профессии?

— Эдварду Жебровскому — он читал сценарии моих этюдов, оценивал, объяснял. Я многим обязан Кесьлёвскому и Занусси. Кесьлёвский давал нам посмотреть фильм и после просмотра велел описывать его по памяти, кадр за кадром. За 10 кадров тройка. Пятерка была за 30, ее никто ни разу не получил. Это учило логике мышления образами. После киношколы

решающей стала встреча с Гофманом и Хентинским, им я обязан своим дебютом. К Гофману меня направил Вайда: «В моей киностудии ваш сценарий „Отсрочки” цензура не пропустит. А Гофман член партии, но он порядочный человек, он будет сражаться за этот фильм, в его студии у вас есть шанс». Встреча с Хентинским продолжается по сей день, я обсуждаю с ним все свои новые проекты.

— **Отношение критики тебя волнует?**

— Да ты что! Я недавно встретил профессора Анджея Заваду, который в свое время преподавал нам в университете современную литературу. «А ты знаешь, Вальдек, сколько писателей дебютировало в 60-е годы? Хотя бумагу выделяли по лимиту — больше пятисот». И пятьсот литераторов переживали свой день триумфа, вдыхали запах типографской краски со страниц свежевывшедшей книги. А какие на них были замечательные рецензии! И скольких из них мы сегодня помним? Время все расставляет по своим местам.

Вела беседу Анна Жебровская

1. Здесь и далее курсивом — по-русски в тексте. — Ред.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

После катастрофы правительственного самолета под Смоленском, в которой погибли президент Лех Качинский с женой, парламентарии, многие высокопоставленные правительственные чиновники, члены «Катынских семей» и патриотических организаций, направлявшиеся почтить память жертв преступления в Катыни, маршал Сейма Бронислав Коморовский объявил недельный национальный траур с 10 по 18 апреля 2010.

На время национального траура были отменены все массовые развлекательные мероприятия — любые зрелища, концерты, спортивные соревнования. Фестиваль «Европейские театральные встречи» в Познани был прерван. Отменены юбилейные тридцатые «Варшавские театральные встречи», их организаторы решили, что мероприятие будет проведено в следующем году.

Среди 96 человек в списке жертв катастрофы оказались также люди из мира культуры, в том числе вице-министр культуры и национального наследия Томаш Мерта, бывший министр культуры, известный деятель оппозиции времен ПНР Аркадиуш Рыбицкий, актер Януш Закшенский.

Януш Закшенский (1936)2010), популярный и любимый актер театра и кино, создал незабываемые образы, например Бенедикта Корчинского в кинофильме, снятом по роману Элизы Ожешко «Над Неманом». Выпускник Высшей театральной школы в Кракове, он с 1960 г. играл в краковском Театре имени Словацкого. С 1967 г. — в труппе Театра Польского в Варшаве. Его дебют в кино состоялся в 1958 г. в картине «Калоши счастья». Он сыграл свыше пятидесяти ролей в фильмах и сериалах. Среди них «Ставка больше чем жизнь», «Нюрнбергский эпилог», «Черные тучи», «Секрет Энигмы», «Что ты мне сделаешь, когда поймашь», «Мишка», «Эпизод Берлин-Вест». Он сыграл Наполеона в «Пепле» Вайды и Станислава Игнация Виткевича в фильме «Тумор Виткация». Чаще всего ему приходилось воплощать образ Юзефа Пилсудского. В первый раз — в фильме «Полония Реститута» в 1980 году. Гримерша, работавшая с ним, пришла в восторг, когда приклеивала усы: Закшенский оказался очень похож на маршала. Работая над этим образом, актер много читал, изучал историю. В варшавской Студии документальных фильмов на

Хелмской улице ему показали тогда тщательно оберегаемые архивные материалы. Актер изучал, как Пилсудский двигался на улице, в окопах, в кабинете, как держал себя, когда принимал парад в Киеве. Актерские поиски вскоре переросли в страсть, которая увенчалась книгой «Мои встречи с Маршалом». В последний раз Януш Закшенский вышел на сцену в пятницу 9 апреля 2010 г. в спектакле «Чума» по Камю.

Погиб также Анджей Пшевозник. Человек-институт. Как генеральный секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества он эффективно добивался раскрытия правды о поляках, убитых в СССР. Именно он организовал торжества в Катыни. Он занимался организацией польских военных захоронений в Катыни, Медном и Харькове и других некрополей, имеющих целью увековечить память поляков, ставших жертвами тоталитаризма в 1939–1956 в стране и за границей. Благодаря его усилиям было обустроено кладбище и поставлен памятник жертвам преступления в Едвабне. «Едвабне — это неразорвавшаяся бомба, которую очень трудно разрядить», — сказал он в интервью «Тыgodнику повшехному». Важным его успехом было новое, торжественное открытие кладбища защитников Львова. Это удалось ему после многолетней борьбы с властями города. Он спорил с Институтом национальной памяти по вопросу оценки позиции русских по катынскому делу.

«Россия учит терпению, — говорил Пшевозник на радио «Ток-ФМ» за три дня до катастрофы. — Специфика России состоит в том, что если должно что-то случиться или начаться какие-то процессы, открыты новые документы, то это зависит от решения государственных властей. Поэтому мы должны с этими властями говорить, ставить проблемы, потому что только таким образом мы в состоянии этот процесс вместе, поляки и русские, двигать вперед. В России в самом деле реальные решения принимают люди, осуществляющие власть».

Портал www.culture.pl в эти скорбные дни постоянно публиковал соболезнования, поступающие от людей культуры со всего мира в Институт Адама Мицкевича в Варшаве. Одним из первых отозвался Валерий Гергиев, главный дирижер Лондонского симфонического оркестра: «Выражаю самое глубокое сочувствие моим польским друзьям и погруженному в траур народу». От имени Российского центра культуры и науки в Варшаве соболезнования прислал директор Сергей Скачко, советник посольства России в Польше: «Выражаю вам, а в вашем лице всему польскому народу глубокое сочувствие в

связи с трагической смертью президента Республики Польша Леха Качинского, его жены Марии, президентской делегации и всех польских граждан, находившихся на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Смоленске. Вместе с польским народом мы погружены в скорбь и выражаем соболезнования семьям, близким, друзьям трагически погибших в этой ужасной авиационной катастрофе».

Вечером накануне церемонии погребения президентской четы, на краковской Рыночной площади прозвучал «Реквием» Моцарта. Интернациональная группа музыкантов воздала почести жертвам катастрофы под Смоленском. Концерт «Краков in memoriam» должен был объединить музыкантов из России и Польши. Оркестром «Sinfonietta Cracovie», хором Польского радио и мадригалистами Краковской капеллы руководил французский дирижер польского происхождения Марк Минковский (он отменил запланированные ранее выступления в Брюсселе и добрался в Польшу на автомобиле). Из Москвы, не без проблем, через Вену, прибыла знаменитое сопрано Юлия Лежнева. Однако не сумел добраться до Польши тенор Даниил Штода — его самолет вообще не вылетел из Санкт-Петербурга. Юлия Лежнева перед концертом сказала: «Это большая честь иметь возможность воздать музыкальную дань жертвам авиакатастрофы под Смоленском, хотя это трагический, драматический для всех момент». Моцартовский «Реквием» на главной краковской площади в тишине и сосредоточенности слушали тысячи людей.

Согласно польским информационным источникам, после того как «Катынь» Анджея Вайды посмотрело по российскому телевидению 14 миллионов зрителей, заинтересованность фильмом выразили и другие зарубежные телекомпании, в частности Литвы, Латвии, Украины, Хорватии, Белоруссии, Португалии, Канады, США и общественное телевидение Республики Македония.

6 апреля состоялось открытие для широкой публики Музея Фредерика Шопена в замке Острогорских в Варшаве. Современная экспозиция, представляющая самую большую в мире коллекцию оставшихся после композитора памятных вещей, — это уникальное явление для мирового музейного дела, как пишет портал culture.pl.

Старинные интерьеры барочного здания были существенно модернизированы в соответствии с новой функциональной концепцией, по которой музейное пространство вместе с новым концертным залом увеличилось почти в два раза. На площади свыше 4600 кв. м размещена экспозиция о жизни и

творчества художника. Оснащенные мультимедийным оборудованием залы дают возможность каждому посетителю самостоятельно и по собственному выбору проследовать по жизненному пути Фредерика Шопена. Этому помогают специальный чип, который служит ключом к каждой выставке, и индивидуальный путеводитель.

Гости могут выбрать один из четырех маршрутов посещения — от многочасовой экскурсии для знатоков до сокращенной, для нетерпеливых. Среди залов запланирована красочная комната для детей, которая должна пробудить восхищение музыкой Шопена. Благодаря современной технологии: плоским экранам, проекторам, сотням скрытых динамиков, а также копиям мебели XIX века — можно перенестись во времени и пространстве в комнату маленького Фридерика в Желязовой-Воле или во французский город Ноан, услышать шум парижских улиц, разговоры по-польски и по-французски, крики рассерженного учителя игры на фортепьяно или звук отодвигаемой чашки. И даже почувствовать запах фиалок — любимых цветов Шопена.

Официальное открытие музея состоялось 1 марта. В нем участвовали президент Лех Качинский, премьер Дональд Туск и министр культуры Богдан Здроевский.

23 апреля в 41-ю годовщину смерти Кшиштофа Комеды-Тщинского, выдающегося кинематографического и джазового композитора, в Варшаве открылся IV фестиваль киномузыки Кшиштофа Комеды. Прошли специальные концерты с участием звезд джаза, показы фильмов с музыкой Комеды (в этом году — анимационных), специальные выставки. Событиями стали концерты «European Stars — For Komeda» с участием мировой знаменитости — шведского пианиста Бобо Стенсона, а также «Polish Stars — Tribute to Komeda» с квинтетом одного из крупнейших польских джазовых музыкантов Збигнева Намысловского.

Фестивалю сопутствовала выставка плаката «Комеда — Полянский», на которой представлена интересная коллекция плакатов со всего мира к фильмам Романа Полянского с музыкой Кшиштофа Комеды.

Фестивальные мероприятия прошли в Центре современного искусства Уяздовского замка и в Литературном музее в Варшаве.

Поклонников джаза, безусловно, заинтересует книга «Desperado! Автобиография» (краковское «Выдавництво

литерацке»). Томаш Станько вспоминает в ней легендарные концерты, сессии звукозаписи, прекрасных музыкантов, с которыми доводилось вместе работать. И вкус успеха. Рассказывает также, как можно вступить в мир мрака и оказаться на дне. Шокирующие признания: наркотики, подпольный мир наркоманов, дилеров и безумия. И в конце — возврат к действительности. Рассказ одного из лучших джазовых трубачей мира записал Рафал Ксенджик, журналист и музыкальный критик.

Вышел очередной фильм о Тадеуше Конвицком. Вторая программа польского телевидения показала его 1 апреля. На сей раз это режиссерский дебют писателя Януша Андермана, больше рассказывающий о самом авторе «Малого Апокалипсиса», чем о его творчестве. Вместе с главным героем в документальном фильме «Что я здесь делаю» участвуют Анджей Лапицкий — актер, друг Конвицкого, Станислав Бересь — литературовед, Тадеуш Любельский — киновед, Адам Михник, а также дочь писателя Мария Конвицкая. Музыка к фильму написал Зыгмунт Конечный.

«Исходный замысел был простым, — написал в «Политике» Здзислав Петрасик, — и великолепно оправдался: четыре разговора, каждый ведется в ином месте, плюс воспоминания дочери, записанные на знаменитом балконе, с которого видно Дворец культуры и науки [«герой» романа Конвицкого «Малый апокалипсис»]. В самом Дворце с писателем беседует Адам Михник, а ранее, в старом кафе «Новый свят», его расспрашивают профессора Станислав Бересь и Тадеуш Любельский, в начале же мы видим Оборы (где вопросы задает сам Андерман) и, конечно, кафе «Чительника», где вопросы задает Анджей Лапицкий. Конвицкий предупреждает, что не выносит вопросов, как и в частной жизни, но всё же складывается впечатление, что на каждый из них отвечает искренне, а самое главное — интересно».

«Этот фильм — свидетельство не столько одиночества писателя, сколько его невероятно сильного присутствия. Хотя он уже годы не пишет, но, когда его слушаешь, словно читаешь его книгу. Словно он сам — такая живая книга», — пишет Тадеуш Соболевский в статье «Кто так сегодня с нами говорит?» на страницах «Газеты выборчей». С этим трудно не согласиться.

Тадеуш Конвицкий — герой нескольких других документальных фильмов. Это «Прохожий» Анджея Титкова (1984), «Тадеуш Конвицкий, эскиз к портрету художника. Варшава, 1989» Мечислава Б. Фогта (1990), «Ковальский-

Малиновский. О „Сальце” Тадеуша Конвицкого» Гжегожа Янковского и Яцека Щербы (1998), «Вполне просторный апокалипсис» Анджея Титкова (2002), а также «Солнце и тень» (2007) в режиссуре Яна Холоубека, сына выдающегося актера Густава Холоубека, умершего два года назад друга Тадеуша Конвицкого.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

За все годы, что веду эту рубрику, я ни разу не сталкивался с более сложной ситуацией, в особенности в отношении комментария текущих дел. Вся пресса до дня смоленской катастрофы в одночасье стала неактуальной. В свою очередь, смерть президента Леха Качинского и ускоренная избирательная кампания привели к тому, что большинство журналистских высказываний утратило свою остроту и выразительность: в атмосфере траура трудно подвести сущностный итог правления умершего лидера, а решение его брата-близнеца заменить погибшего в роли кандидата на выборах сделало сегодняшнюю политическую жизнь похожей на хождение по минному полю.

В СМИ, доминирующих на медийном рынке, голоса, доносящиеся со стороны крайних правых или левых, если и не напоминают клиническую паранойю, то в любом случае не несут ничего нового. Ситуация у правых — прежде всего у тех, кто представляет националистические взгляды, но также и у левых, которые определенно заняли в Польше свою нишу, потребовала бы, впрочем, отдельного очерка.

В результате, отыскивая тему для моего обзора, я остановился на том, что подальше от политической жизни, но тем самым более приятно и позволяет, как минимум, мне самому, а возможно, и читателям отвлечься от текущих событий. Это еще и повод выйти за пределы круга обычно преобладающих в моих обзорах изданий и обратить внимание на то, что делается в провинции.

Только что вышел новый номер нерегулярно издающегося в Плоцке журнала «Госцинец штуки» («Столбовой путь искусства») (2010, №1), полностью посвященный России. В редакционном вступлении, озаглавленном «Приветствуй нас, Россия», можно, в частности, прочесть:

„Подчеркивая дружбу Мицкевича и Пушкина, порожденную в значительной мере антицаристскими установками обоих поэтов, мы часто забываем, что у последнего, наряду со стихами «К Чаадаеву», есть также «Клеветникам России». Стоя перед памятником Адаму в Одессе, где на цоколе выбиты

сердечные слова Александра «Он между нами жил... и мы его любили», мы предпочитаем не помнить, что поэма русского романтика «Медный всадник», выражающая восхищение автора «Петра твореньем» (то есть Петербургом), возникла как полемика по отношению к «Петербургу» из III части «Дядюшкин сон», где невольная метрополия предстает скроенным на европейский манер символом азиатской тирании. Читая провидческие шедевры Достоевского, мы стараемся не обращать внимания на отталкивающие фигуры «полячишек». Еще более отталкивающий образ польского рыцарства в национальной русской опере «Жизнь за царя», она же «Иван Сусанин», мы вообще игнорируем в силу любви к прекрасной музыке Михаила Глинки (которого, впрочем, связывали с Польшей многочисленные знакомства и почти три года жизни в Варшаве). (...) Степень сложности польско-российских отношений в области культуры дополняет тот факт, что упомянутый выше вдохновенный Адам с особой доброжелательностью трактует в «Видении» ксендза Петра в III части «Дядюшкин сон» образ русского захватчика, а в период увлечения идеями Товьянского склонялся к панславизму (позже отвергнутому Жеромским), в те времена не чуждому... ну, хотя бы вдохновенному Александру. Не говоря уже, что во всей этой фатально исторически детерминированной польско-русской любви-ненависти есть и случаи подлинной симпатии, понимания и уважения. Достаточно назвать только полные сочувствия образы польских ссыльных в рассказе Льва Толстого «За что?», основанную на сюжете Мицкевича и посвященную «Памяти Ф.Шопена» оперу «Пан Воевода» Николая Римского-Корсакова, или, наконец, позицию его самого знаменитого ученика, Игоря Стравинского, который, будучи потомком шляхетского рода с восточных окраин Речи Посполитой, с екатерининских времен осевшего в России, никогда не скрывал симпатии к земле предков — настолько, что в фешенебельных ресторанах Запада заказывал обычно к обеду польскую водку”.

Прерву ненадолго редактора журнала, чтобы напомнить ему и всем другим довольно печальное обстоятельство, связанное с выездом Стравинского из Советской России. Композитор обратился тогда с просьбой о польском гражданстве, в чем ему, по неизвестным в точности причинам, быстренько отказали. После этого отступления вернусь к тексту вступительной статьи:

„Тот же Сулима-Стравинский, оправдывая полный вариант своей фамилии, после визита в Варшаву в середине 1960-х заявил, что «русские причинили Польше много зла». С этим мнением, в особенности с отечественной точки зрения, трудно

полемизировать, подобно тому, как трудно спорить, что долгосрочная зависимость нашей страны от России царской или советской оставила в польской культуре явные следы. Они были не только болезненными и ненужными, о чем знают, например, жители Плоцка, когда-то столицы Мазовии, а позже... губернского города на западной окраине царской империи. В центре этой столицы долгие годы стояла православная церковь. В межвоенный период ее успешно разобрали как символ чуждой власти, хотя здание было интересным — по крайней мере для историков искусства. Большую часть своей долгой жизни провел в Плоцке родившийся здесь, здесь же умерший и похороненный Алексей Кирюшин, сын царского чиновника, но главное — талантливый художник, чьи жанровые картины — неоценимый источник сведений о повседневной жизни местного населения и об облике города на закате Второй Речи Посполитой и в первые годы ПНР. Его иконы украшают одну из двух существующих по сей день церквей в городе Кароля Фердинанда Вазы и Антония Юлиана Нововейского, где сохранилась еще исчезающе малая православная община. Мы напоминаем об этом в данном номере «Госцинца штуки», плоцкого художественно-литературного журнала с более обширным тематическим измерением, где, что вполне логично, локальные польско-русские темы мы стараемся представить в широком контексте. Наряду с Кирюшиным, появляется, например, неоднократно упоминаемый Пушкин или интеллектуально с ним связанный современный поэт Сергей Завьялов. Реминисценциям на тему православных традиций Плоцка отвечает текст о священнике Александре Мене и его трагической судьбе в советской России. Есть также связь с нашим польско-литовским номером, совершенно очевидная в перспективе нынешнего: следующим собеседником «Госцинца» будет живущий много лет в Вильнюсе выдающийся русский музыкант Владимир Тарасов».

И в итоге поразительное заключение в связи с заголовком передовицы: «Приветствуй нас, Россия. Отечество кровожадных деспотов и гениальных художников, близкое нам именно благодаря вторым. Край фундаментальных противоречий и колоссальных, до сих пор впустую растрчиваемых возможностей — и этим, быть может, более восхитительный, чем какой-либо другой в европейском культурном контуре. Страна, в цивилизационном отношении веками бывшая истинным кошмаром для цивилизованного мира, а в культурном смысле — его истинным сокровищем, ценимым равно в Париже, Варшаве, Вильнюсе или даже в Плоцке».

Оставляя судить о точности этих оценок более мудрым, я лишь обращаю внимание на само содержание этого номера «Госцинца Штуки». Итак, Анджей Доробек в тексте «Битники из Ленинграда?», предпосланном подборке произведений Хармса и Заболоцкого (в польских и английских переводах), обращает внимание на то, что 2002 г. калифорнийский журнал «Нью америкен райтинг» (№20) опубликовал блок переводов Введенского, Хармса и Заболоцкого. А Дариуш Бжостек в очерке «Два лика русского музыкального авангарда» пишет:

„История русского и советского джаза изобилует не только серьезными художественными событиями, но и драматическими эпизодами, обусловленными общественно-политической ситуацией в СССР. Достаточно вспомнить здесь только судьбу «белого Армстронга» Эдди Рознера, чей джаз-банд смог стать официальным оркестром Белорусской Советской Социалистической Республики и выступить перед Сталиным — только затем, чтобы его руководитель почти сразу впал в немилость и прошел лагерь в Хабаровске и ад Колымы. В истории джаза советской России все еще много белых пятен, в особенности это касается публикации архивных записей тех музыкантов, которых как джазменов, то есть «сеятелей духовной нищеты», сам генералиссимус Сталин предал анафеме, официально запретив использовать слово «джаз». Лишь недавно российская „Мелодия” переиздала пластинки с композициями таких музыкантов, как, например, Александр Цфасман (и его «АМА-джаз», первый советский джазовый оркестр) или Александр Варламов, представив их творчество в «Антологии советского джаза», раскрывающей забытый облик советской музыки двадцатых и тридцатых годов. А основанная в Великобритании в 1979 году российским эмигрантом Львом Фейгиным кампания «Leo Records» последовательно напоминает в серии «Golden Years of Soviet Jazz» необычайные достижения советского авангарда 70-х и 80-х годов, издавая архивные пластинки таких музыкантов, как Сергей Курехин, Валентина Пономарева или Вячеслав Гамелин”. Заслуживает внимания также статья Рафала Полацкого «Калинка в ритме пого. Краткая история русского панка».

Я прекрасно помню свое удивление, когда во время одного из концертов варшавского фестиваля «Джамбори» в 70-е годы выступал один из советских ансамблей. Я был уверен, что в Советах джаз по-прежнему запрещен так, как это было у нас в сталинские времена, когда он ютился в частных подвалах, чтобы после 1956 года взорваться плеядой музыкантов мирового уровня. И я задумался, почему для наших европейских тоталитарных режимов — нацизма и

коммунизма — джаз был или «дегенеративным искусством», или плодом «сеятелей духовной нищеты» и запрещался. Причина кажется очевидной: джаз — это сфера свободы, особенно индивидуальной: достаточно вспомнить роль инструментальных соло и значение импровизации. Тоталитарным системам соло и импровизация кажутся опасными хотя бы потому, что их нельзя унифицировать и идеологически использовать.

Конечно, этим не исчерпывается богатство содержания плоцкого «Госцинца штуки», но интересен уже сам факт, что все большее внимание в Польше уделяется достижениям русского авангарда. Очередной тому пример — фрагмент подготовленной поэтом и литературоведом, представительницей неолингвистического течения в польской лирике Иоанной Мюллер книги, посвященной Велимиру Хлебникову. Ранее разделы ее труда публиковались на страницах «Литературы на свете» (2007, №7–8). И вот очерк «Игра Велимира Хлебникова. Будетлянский букварь, звездным языком написанный, — разговор I» в последней тетрадке краковской «Декады литерацкой» (2009, №5–6). Приведу пример существенной интерпретации:

„Сам Хлебников неоднократно пользуется метафорой «зримой незримости» мотылька (или шире — насекомых). Одной из прекраснейших иллюстраций служит стихотворение «Кузнечик», сопровождаемое более поздним авторским анализом, учитывающим воздействие невидимого влияния подсознания на конечную форму текста. Интересную версию будетлянского эффекта мотылька мы находим также в историософском, выдержанном в стилистике пророчества тексте «Курган Святогора». Поэт играет здесь своими излюбленными лейтмотивами. Приглашая к «непорочной игре в числа бытия своего», которая должна привести человечество к обнаружению «изначальных чисел бытия-прообраза», Велимир Король Времени приводит во взаимодействие совершенно несопоставимые вещи. Здесь будут, например, русский национализм и славянофильство, противопоставляемые Западу, поэтическое видение Начала, сталкиваемого с проектом утопического Будетлянства, «доломерие» Евклида и Лобачевского, сопряженные с чисто языковыми теориями, и, наконец, «высший суд славобича», который «всегда лежал в науке о числах», ибо «слова суть лишь слышимые числа нашего бытия», а «грань между былым и идущим» опирается на познание «древа мнимых чисел» (и здесь, конечно, находим — выведенное из теоремы Лоренца — мнимое число $V-1$). «Курган Святогора» — это мозаика смелых

первородных образов, где отхлынувшее море открывает сушу, осваиваемую постепенно народом, который воспринял «в последний час, сквозь щель времowego гроба, восток живого духа, распятого железной порой воителя». Эти мифопоэтические описания «былого», построенные по определенной модели, до смещения подобны «идутному», которое есть наследие «широт волн древнего моря». Разве в этом масштабном историософском видении найдется место элементу столь незримому, как движение крыльев мотылька? Оказывается, найдется. В VIII фрагменте текста Хлебников занимается проблемой русского языка, который приравнивается к геометрии Евклида. Далее поэт спрашивает, пригоден ли этот же принцип, чтобы ввести мышление о языке в рамки другой геометрии, а именно в контекст «доломерия Лобачевского». Поэт, который сам себя называл «Лобачевским слова», предлагает здесь лингвистическое отклонение, подобное тому, которое заметно в неевклидовой геометрии русского математика. Хотя важнейшие правила русского языка останутся сохраненными (как и у Лобачевского сохранены главные аксиомы Евклида), однако же в новой системе о своих правах заявит пропускаемое прежде правило. В случае евклидовой геометрии аксиома параллельности заменяется постулатом гиперболичности, в случае языка главнейшим становится правило словообразования”.

Далее автор указывает, какое значение имеет в словообразовании обращение Хлебникова к народному языку, образующему «слова на час», живущие «век мотылька». Их короткая жизнь, как жизнь многих поэтических неологизмов, характеризуется упомянутой выше «зримой незримостью», составляющей, как пишет Мюллер, «основу для построения „общеславянского слова“, впоследствии общего для звездного языка всех людей».

Конечно же, не только русский авангард интересуется польскую общественность. Все чаще в прессе появляются также произведения современных писателей. В упомянутом номере «Госцинца» помещены стихи Натальи Горбаневской, Лены Элтанг, а в «Боруссии» (№44/45), в блоке, озаглавленном «Российский кит», — произведения не только Бориса Поплавского (недавно ему был посвящен целый номер), но также Владлена Гаврильчика, Игоря Холина, Михаила Айзенберга, Дмитрия Пригова, Всеволода Некрасова и Генриха Сапгира. Это, разумеется, отдельные примеры присутствия русской культуры в польской культурной периодике последнего времени. Быть может, вскоре, после недавно изданной, замечательной, хотя и очень выборочной антологии Виктора

Ворошильского «Мои русские», представляющей поэзию от Александра Пушкина до Ирины Ратушинской, мы дождемся новой, еще более полной панорамы современной русской лирики.

НЕДОСТОВЕРНОСТЬ

Влажный воздух отдавал прелостью. Актера поразили вид подгнивших досок, заменявших сетки на бетонных столах для настольного тенниса. Нищета. Кто-то зажег костер, подбросил мокрых листьев, дымом тянуло по всей округе. Военный с портфелем держал за руку ребенка, мальчика или девочку — не понятно. Они стояли, уставившись на огонь. Актер пытался угадать, что их сюда привело. Может, выдалась свободная минута, и мужчина забрал малыша из детского сада, а может, он разведен и в установленные судом часы имеет право встречаться с ребенком, но чем тут заняться, куда пойти с такой крохой... Везде уже были, самое простое — прогулка...

Они не разговаривали — просто смотрели на огонь... Офицер, наверно, погрузился в воспоминания, а ребенок впервые увидел костер да и сам огонь, наверняка, тоже. Где сейчас малышу увидеть горение, разве что по телевизору — какой-нибудь пожар в гостинице, — а настоящее пламя, пожирающее дерево, листья, все подряд? Удивительное превращение живой материи, твердого тела в пепел, дым, свет и тепло... Ребенок большими глазами глядел на чудо, с которым не может сравниться ни батарея отопления, ни лампочка, ни электрический обогреватель. Языки пламени, настоящие, жадные! Дитя не знало, что в наказание за огонь, подаренный людям, Прометею ежедневно удаляли печень без анестезии.

Актер любил придумывать биографии случайно встреченным людям. Как правило, они получались далекими от реальности. Он хотел спросить о чем-нибудь офицера, но передумал. Сел на край скамьи, окаймлявшей спортивную площадку, — за спиной осталась ровная серая стена заднего фасада театра с редкими окнами грим-уборных — и машинально взглянул на часы, до начала спектакля оставалось еще много времени.

На площадке находились две команды. Неподалеку были свалены в кучу дешевые куртки и штаны. Играли в футбол. Ожесточенно, яростно сражались за очки, но как-то иначе, с достоинством... без ругани, боевых кличей и отчаянных воплей из-за незабитого гола. Среди них немолодой человек в кепке, тоже с портфелем — видимо, судья, правда, без свистка и с лицом, как у портового грузчика. Быстрыми шагами он мерил небольшое поле из конца в конец... При грубом нарушении правил или когда мяч попадал в ворота, все смотрели на него

внимательно и сосредоточенно... Не более десятка болельщиков сидели с противоположной стороны, среди них две-три девушки, — весь матч в неестественной тишине и напряжении.

И вдруг его осенило.

Глухонемые!

Актер встал и направился к театру. Сегодня был дневной спектакль. История последних семи часов жизни Иисуса Христа, в сопровождении рок-музыки. Он играл главную роль попеременно с другим исполнителем.

Непонятно, почему, но люди на спортплощадке вызывали у него раздражение. По его ощущению, было нечто неуместное в том, что глухие занимаются спортом, который сам по себе должен быть принадлежностью здоровых, сильных и веселых. Он знал, что не прав, и злился, поскольку никак не мог избавиться от мысли об искусственности этого зрелища без обычного звукового сопровождения. Скандирование и крики, характерные для футбольных матчей на стадионах, так и стояли у него в ушах. Здесь же все были безмолвны и нерадостны — как игроки, так и болельщики.

В тесном театральном коридоре он, уже одетый в длинный белый саван, среди суеты перед началом спектакля в недоумении остановился перед режиссером.

— Почему я сегодня не играю? — спросил актер, внезапно бледнея.

— Потому что ты недостоверен и неубедителен. К тому же у тебя живот! Сегодня в зале будет человек, в котором я очень заинтересован.

— Что у меня?! — повторил актер, точно не веря своим ушам.

— Да, у тебя живот! Когда ты висишь на кресте, это очень заметно...

— Живот! Да там одни мускулы! Давай... — он схватил режиссера за руку, — давай, ударь меня сюда! Ударь!..

— Я не собираюсь публично бить Христа ниже пояса.... Тем более тут, в коридоре.

— Это живот?!

— Ты рехнулся! — режиссер вырвал руку и одернул пиджак. — Ты неорганичен и недостоверен! Не я один так думаю...

— А кто еще?

— Например, Иуда.

— А Мария Магдалина?

— Сам спроси.

Режиссер отошел, по дороге делая замечания апостолам. Мария Магдалина наблюдала за этой сценой издалека.

Актер несколько раз ударил себя, напрягая пресс, но быстро сник и притих. Он поднял вверх правую руку, словно прощая или благословляя своего мучителя и судию.

Со стороны грим-уборных шел уже новый Христос, в точно таком же белом саване. В узком коридоре им едва удалось разминуться, не задев друг друга. В глазах дублера блеснула ирония с оттенком торжества и превосходства...

— Хвала тебе... — пошутил было он, но осекся под серьезным взглядом снятого с роли товарища.

Со сцены доносились звуки увертюры. Начинался спектакль. С ним ездили по провинции уже довольно долго. Он немного стерся, увял в неприспособленных залах и грязных декорациях, потерял энергию и остыл из-за отсутствия отклика со стороны случайной публики.

— «Mein Reich ist nicht von dieser Welt!» — неожиданно гаркнул актер, снимая белый саван и натягивая джинсы.

— Тсс... идиот! — шикнул на него костюмер. — С ума сошел!?

— «Mein Reich»... а как по-нашему? — повернулся он к костюмеру, вдевавшему нитку в иголку. — «Царство Мое не от мира сего...» Это не я, а наш язык звучит неубедительно и не годится для того, чтобы воодушевлять миллионы. Представь себе речи Гитлера или Геббельса по-польски или по-чешски — смех в зале!

Он встал у открытого окна и снова рявкнул: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt!». А эхо повторило: «Welt! elt! elt!..». Никто не отозвался. За окном простирался печальный пейзаж, дым от костра тянулся среди бараков и дворовых спортплощадок, а глухонемые все так же играли, молча и сосредоточенно.

Костюмер пришил пуговицу и откусил нитку зубами.

— А мне из иностранных языков больше всего нравится французский... — сказал он и бросил на актера томный взгляд, сопровождаемый трепетанием ресниц.

— «Mon royaume n'est pas de ce monde...», по-французски тоже фигня!

Он решил выйти из театра.

В коридоре сквозь приоткрытую дверь увидел на сцене Иисуса Христа, благословлявшего толпу. Актеры стояли на коленях в смиренном восторге, воздев руки к небу... Видимо, коллега был более убедителен.

— Нет! Это ложь! — подумал он. — Лжет, лжет! Он лжец! — Резко повернул обратно, перепрыгнул через несколько ступенек и снова оказался в грим-уборной. «Mein Reich ist nicht von dieser Welt»? — рывком стянул джинсы вместе с трусами и заметался в поисках савана. Нашел и принялся надевать. Костюмер театральным жестом прикрыл глаза ладонью.

В коридоре наткнулся на Марию Магдалину.

— Ну и как? — спросил он сквозь зубы.

— Что «как»?

— С ним лучше?

— Вот что я тебе скажу...

— Лучше не говори.

Он чувствовал, что теряет ее. Видел, как они обсуждали перед спектаклем сцену забрасывания камнями, после предательства Иуды... У них был контакт. Она поддакивала, он обнимал ее за плечи, но как-то властно, без этого налета: мужик, баба... Их объединяло великое дело... Служение Христа и его сила — ее обожание и женственная мягкость. Они хорошо смотрелись! Ему всегда не хватало силы и независимости от окружающих. Чтобы завоевать «низы», надо летать высоко. Он был добрым. А был ли Христос всегда добр? Он должен быть... твердым! Та сцена в храме с бичом в руке...

— Как ты на него засматриваешься! — крикнул он.

— Потому что так должно быть, — ответила она спокойно. — Магдалина очарована Христом, покорена, захвачена,

поглощена, пленена, порабощена, парализована! Ты сам мне так говорил.

— Но на меня ты так не смотрела!

— Потому что я тебя знаю...

— Я кажусь тебе убедительным?

— Тебе надо попробоваться на роль Иуды, — сказала девушка после паузы.

— Что?!

— Мария Магдалина, сцена у костра... — раздался голос помощника режиссера из хрипящего громкоговорителя.

— Иду... — она ушла, крутя задом.

— Прекрасно!.. Выйду вместе с ним на сцену. Вместе с этим узурпатором. Пусть выбирают: зрители, коллеги-актеры и она, Мария Магдалина...

Он чувствовал, что она изменяет ему с тем, другим, уплывает, вырывается из круга его личности, его обаяния и мужской силы...

— Ну и прекрасно, пожалуйста, сделаем последнюю попытку! Решим — да или нет! Испытаем «достоверность» на сцене, за кем пойдут. Так было, когда Иисус Христос жил на земле. Тогда тоже стоял вопрос о достоверности... и Христос победил. И он тоже должен победить! Или погибнуть на глазах товарищей, публики... и этой распутницы!

С какой легкостью она отдала сопернику всё, что было лишь для него одного: жесты, взгляды, прикосновения... разрез на юбке — *«мною обладавшим несть числа!»*...

— Как она бесстыдно раскорячивается, нагибаясь... Девка!

Он выйдет в сцене с Пилатом, и пусть решают сами!

— *«Кто тот несчастный у моего порога?»* — поет Пилат, и тут вдруг смотрит — а на сцене два Иисуса Христа! — *«Я, я это Он»*, — скажет тот, настоящий и достоверный. — *«Я царь иудейский»*, *«Царство мое не от мира сего, о нет!»*... Поглядим, кому поверят... Или он встанет перед Иродом — рядом с тем! Они одинакового роста, такой же белый саван, волосы, борода... *«Пошел прочь, ты, Иудейский Царь!»*... *«Вон из моей судьбы!»* — требует Ирод. — Мысли мелькали в голове актера как молнии.

— Нет, лучше в сцене ареста. Пусть Иуда выбирает, кого поцеловать... пусть покажет, кого он посылает на смерть, на страдания. Меня, меня! Спорю на что угодно!

Он хрипло засмеялся, но тут же посерьезнел — решился:

— Сейчас или никогда!

Скрипки заплакали горестно, пронзительно.

Вся малость людская была в этой музыке: душевный надлом человека и победа Бога.

Он свободно вышел через боковую кулису на сцену и к удивлению помощника режиссера и актеров запел, опережая дублера...

— «Иуда, ты целованьем предаешь...»

Увидев двух одинаковых Иисусов, Иуда опешил, а остальные актеры, воины, апостолы и первосвященники вросли в землю, как жена Лота. В другой пьесе все померли бы со смеху вместе с сидящими в зале — но здесь случилось нечто невероятное. После долгой паузы Иуда, как загипнотизированный, двинулся в сторону того, кто вторгся только что на сцену, и поцеловал его в щеку — словно другого актера, с которым он уже час играл спектакль, не существовало вовсе. Воины бросились на Христа, указанного Иудой. Дублер выбежал за кулисы, а зрителям показалось, что тот, второй, лишь почудился Иуде, что в момент своего ужасного предательства Мастера и Учителя он видел перед собой двоих, а может, вообще ничего не видел ...

Спектакль шел дальше с небывалой энергией и воодушевлением до самого финала — сцены распятия и гибели в гаснущем луче света...

Режиссер не решился еще раз подменить исполнителя главной роли.

— Всё, ты уволен, вычеркнут, тебя нет! — кричал он в коридоре, когда актер явился с поклонов, держа букет, на котором была фамилия другого.

Остальные в молчании снимали костюмы и смывали грим вазелином... Дублер вырвал у соперника из рук букет и выбросил в окно. Мария Магдалина отвернулась, а Иуда швырнул в него серебристым пиджаком.

Он не пошел вместе со всеми в автобус. Отправился в гостиницу пешком. В потертых джинсах, застиранной рубашке, он снова превратился в ничем не примечательного молодого человека, вполне органичного в своей заурядности и обыкновенности. Проходя мимо глухонемых, которые, несмотря на сгущавшиеся сумерки, продолжали свою странную игру, он поднял руки к небу — жест, знакомый ему по изображениям святых, — и благословил этих несчастных. И свершилось чудо!

Внезапно слышался шум голосов, восклицания, возгласы досады, ругательства... проявления бурных страстей; болельщики обрели дар речи и воспользовались им по-своему — дико, грубо, обнажая темные стороны своей души, демонстрируя самые низменные инстинкты, слюня слова, валяя их в дерьме: «У, бя...».

Без звука футболисты на площадке были мужественны, благородны, сильны и таинственны.

Актер решил больше не испытывать свою достоверность. Оставил театр, перестал играть, забросил пение, степ, профессию. Устроился сварщиком на судовой верфь. Иногда только воздевал руки жестом: «Идите все ко мне», — но товарищи считали это манией. Правда, излишне нервные неожиданно успокаивались, хромы начинали с легкостью ходить, горбатые выпрямляли спину, а слепые протирали глаза, не веря богатству красок мира. Ему еще не верили, и лишь когда на ладонях появились стигматы и стали немного кровоточить, его забрали в больницу. Когда он вознес руки над медбратом, тот, к удивлению дежурного врача, вдруг пал перед пациентом на колени и поцеловал край белого больничного одеяния.

Ежи Груза (1932 г.р.) — известный телережиссер и автор многих художественных фильмов. Много летний директор Музыкального театра в Гдыне.